

Бор. ПИЛЬНЯК

Том I

ГОЛЫЙ ГОД

РОМАН

ИЗДАНИЕ АВТОРА
Никола-на-Посадьях

Магнус Ред

- 1902

КНИГА № 1155₁

ГОЛЫЙ ГОД

Право перевода закреплено за автором.

По всем делам, связанным с названным правом, следует обращаться к автору по адресу: Коломна, Московской губ., Никола-на-Посадах, Б. А. Пильняку.

Бор. ПИЛЬНЯК

Том I

ГОЛЫЙ ГОД

РОМАН

ИЗДАНИЕ АВТОРА
НИКОЛА-на-ПОСАДЬЯХ

Отпеч. в колич. 5000 экз.
в типографии Госиздата
Москва, Пятницкая, 71.

Издание выпущено
под общим наблюдением
Д. К. Богомильского.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Этим предисловием я хочу предварить первых моих три тома: т. I—роман (Голый год), т. II—повести, т. III—рассказы. В этих трех книгах я собрал все, что написано мной от начала моей писательской работы,—я собрал все, что считаю лучшим, чтоб больше никогда не возвращаться к этим книгам,—чтоб сделать их такими, какими я хочу видеть их навсегда. Я виноват пред читателями: мои рассказы и повести печатались и так, и сяк, отрывки рассказов являлись главами повестей, повести рассыпались в рассказы,—этому причин много, и первая—наше российское половодье, и мое половодье, когда каждый день надо было закраивать наново, теплушку с мукой менять на письменный стол, стол на сенокосные рассветы, перо на лопату,—тогда рукописи терялись, путались, было совершенно неизвестно, где они и где они будут напечатаны, а напечатанные—дошли ли до читателя?—Тогда надо было все переделывать.

Но теперь половодье прошло. Собирая рукописи, подбирая их, перечитывая, я остро понял две вещи: то, что все написанное мною и собранное здесь,—уже и история, уже ушедшее,—и то, что герой этих трех книг—один и тот же, я, моя жизнь, мои мысли и дела. И, если через тридцать-сорок лет новое поколение прочтет и задержит свои мысли на этих книгах, увидит и почувствует живую человеческую кровь живого человека в годы прекрасных российских гроз и половодий, улыбнется моим бредням

и оправдает мою романтику, романтику „блаженного“, посетившего мир „в его минуты роковые“,—я оправдываю мой труд и эти книги, к которым я никогда больше не вернусь.

Я посвящаю эти три книги жене моей Марии Алексеевне Соколовой-Вогау и детям Наталье и Андрею,— жене потому, что без нее я не написал бы их, и детям потому, что им—читать их в будущем, ибо я, как и вся Россия, только этим будущим и живы.

Бор. Пильняк.

Коломна, Никола-на-Посадах,
12 окт. 1923 г. (29 сент. ст. ст.,
моя 29-ая годовщина).

ГОЛЫИ ГОД

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы, дети страшных лет России,
Забить не в силах ничего.

А. Блок.

ВСТУПЛЕНИЕ

В книге „Бытіе разумное, или нравственное воззрѣніе на достоинство жизни“ есть фраза:

„Каждая минута клянется судьбѣ въ сохраненіи глубокаго молчанія о жребіи нашемъ, даже до того времени, когда она съ теченіемъ жизни нашей соединяется; и тогда, когда будущее молчитъ о судьбинѣ нашей, всякая проходящая минута вѣчностью начинаться можетъ“.

I.

ОРДЫНИН ГОРОД.

На кремлевских городских воротах надписано было (теперь уничтожено):

Спаси, Господи,

Град сей и люди твоя,

И благослови

В ход воврата сии.

И вот выписка из постановления Ордынинского Сиротского Суда:

„1794 года Генваря 7-го дня Понедѣльникъ въ Присутствіе Ордынинскаго Городскаго Сиротскаго Суда — господа присутствующіе прибыли въ двѣнадцатомъ часу пополудни:

Дементій Ратчинъ, градскій голова.

Ратманы: Семень Тулиновъ, Степанъ Ильинъ,

Степанъ Зябровъ, градскій староста.

Слушали — — —

Постановили: Градскаго голову Дементія Ратчина, мужа именита и честна, благодарить и чествовать.

Расписались — — —

Изъ Присутствія вышли во второмъ часу пополудни и прослѣдовали въ Соборъ для молебствія“.

Постановление это было написано ровно за сто лет до рождения Доната, Донат же и нашел его, когда громил Ордыннинский Архив. Было это постановление написано на синей бумаге, гусиным пером, с затейливыми завитушками.

Двести лет числил за собой именитый купеческий род Ратчиных, раньше держали соляные откупа, торговали мукою и гуртами, — двести лет (прадед, дед, отец, сын, внук, правнук) на одном месте, в соляных рядах (теперь уничтожены), на торговой площади (теперь Красная), — каждый день стояли за прилавком, щелкали на счетах, играли в шашки, пили из чайника чай (с тем, чтобы осьмерками расплескивать по полу), принимали покупателей, шугали приказчиков.

Иван Емельянович Ратчин, правнук Дементия, отец Доната, сорок лет тому назад, кудрявым юношей стал за прилавков, — с тех пор много ушло: иссох, полысел, надел очки, стал ходить с тростью, всегда в ватном сюртуке и в ватной фуражке. Родился здесь же, в Зарядьи, в своем двухэтажном доме за воротами с волкодавами, сюда ввел жену, отсюда вынес гроб отца, здесь правил.

В Кремле были казенные дома и церкви, под Кремлем, под обрывом, протекала река Волога, за Вологой лежали луга, Реденев монастырь, Ямская слобода (железная дорога в те времена проходила в ста верстах). Весь день и всю ночь, каждые пять минут били часы в соборе, — дон, дон, дон! — И первыми просыпались в Кремле гуси (свиной в Кремле не водилось, ибо улицы были обулыжены). Вскоре за гусями появлялись кабацкие ярыги, нищие, юродивые. Шли в Управление будочники со столами на головах (издал по губернии губернатор распоряжение, чтобы делали надзиратели ночные обходы и расписывались в книгах, а книги приказал припечатать к столам, — надзиратели и расписывались, только не ночью, а утром, и не

в будках, а в канцеляриях, куда приносили им столы). Ночью же ходить по городу позволяли неохотно, и, если спросонья будочник спрашивал:

— Кто идет? —

надо было всегда отвечать:

— Обыватель!

В канцеляриях и участках, как и подобает, били людей, особенно ярыг, жестоко и совершенно, специалистом был околоточный Бабочкин.

Кабацкие ярыги собирались у казенки спозаранку, садились на травку и терпеливо ожидали открытия. Проходили, осенясь крестами, купцы. Пробегал с реки с удочками страстный рыболов отец благочинный Левкоев, спешил с ключами в ряды, открывать епархиальную свою торговлю: благочинный Левкоев человеком был уважаемым, и единственным пороком его было то, что по летам из карманов его ползли черви, результат рыболовной его страсти (об этом даже доносил епископу поэт доносчик Варыгин). Ярыга Огонек-классик кричал отду:

— Всемилодивейший господин!.. Понимаете?.. —

Но батюшка спеша только отмахивался.

А сейчас же за батюшкой выходил из своей калитки, в кителе, с зонтом и в галошах, учитель Бланманжов, следовал за батюшкой в епархиальную торговлю попить чайку и заняться чёской. Огонек (светлое пятно) уверенно шел к нему и говорил:

— Великодушный господин! Vous comprenez? Вам говорит Огонек-классик...

И Бланманжов давал семитку. Бланманжов был знаменит географией и женой, которая в церковь ходила в кокошнике, дома — голая, а летом и осенью фрукты из сада своего продавала в окошко, в одной рубашке.

Приходил к казенке боец Трусков,пил пару мерзавцев. Приходили, проходили на базар торговцы, разнос-

чики. Ярыги покупали собачьей радости и разбредались по делам. Заезжали извозчики на своих „калибрах“, спросонья говорили:

— Пожа!.. пожа!..

А над городом подымалось солнце, всегда прекрасное, всегда необыкновенное. Над землею, над городом, проходили весны, осени и зимы, всегда прекрасные, всегда необыкновенные.

Веснами старухи с малолетками ходили к Николе-Радованцу, к Казанской на богомолье, слушали жаворонков, тосковали об ушедшем. Осенью мальчишки пускали змеев с трещотками. Осенями, зимним мясоедом, после Пасхи работали свахи, сводили женихов с невестами, купцов с солдатками, вдовами и „новенькими“,—на смотринах почтовые чиновники разговаривали с невестами о литературе и географии: невеста говорила, что она предпочитает поэта Лажечникова, а жених предпочитал писателя Надсона, разговор иссякал, и жених спрашивал про географию; невеста говорила, что она была у Николы-Радованца, а жених сообщал про Варшаву и Любань, где отбывал воинскую повинность. На Николу вешнего, на Петров день, на масленую были в городе ярмарки, приезжали шарманщики, фокусники, акробаты, строились балаганы, артисты сами разносили афиши, и после ярмарок купцы ходили тайком к доктору Елеазарычу. Зимой по субботам ходили к водопойщику в баню. Водопойщик устраивал деревянный навес до самой реки, до проруби, и купцы, напарившись крепко, летали стремительно нагишом до проруби окунуться разок-другой. По воскресеньям же зимним были кулачные бои, бились с ямскими и реченевскими, начинали с мальчишек, которые кричали: — „Давай! давай!“ — кончали стариками, — но это не мешало вечером катить купцам в Ямскую к цыганам, поселиться и размножить крупчатых цыганят, а на обрат-

ном пути выворачивать фонарные столбы. Под Рождество до звезды не ели, на первый день славили Христа и рассказывали рацеи, в Крещенский вечер на всех дворах малевали мелом кресты.

События в городе бывали редки, и если случались *комеражи* вроде следующего:

Мишка Цвелев—слесарев—с акцизниковым сыном Ипполиткой привязали мышь за хвост и играли с нею возле дома, а по улице проходил зарецкий сумасшедший Ермил-кривой и—давай в окна камнями садить. Цвелев—слесарь—на него с топором. Он топор отнял. Прибежали пожарные,—он на пожарных с топором; пожарные—теку. Один околоточный Бабочкин справился: Мишку потом три дня драли,—

— если случались такие *комеражи*, то весь город полгода об этом говорил. Раз в два года убежали из тюрьмы арестанты, тогда ловили их всем городом.

В соляных рядах на торговой площади около епархиальной лавки стоял рундук—единственная книжная торговля—под вывеской:

ПРОДАЖА И ПОКУПКА

учебниковъ, чернилъ, пѣрьевъ
и ручекъ.

И ПРОДЧихъ періодическихъ
писчебумажныхъ изданій

А. В. ВАРЫГИНА.

Под рядской иконой Сорока свв. Великомучеников помещалась епархиальная торговля. У рядской иконы служили столько молебнов, сколько было именин у рядских купцов. В епархиальной лавке иконы не покупались, а выменивались: меняльщик покупал новый картуз, клал в него деньги и менял картуз на икону, картузы шли в духовное училище. Заведывал епархиальной торговлей

о. Левкоев, мечтавший, по примеру Иисуса Христа, учредить рыболовное братство и на общем собрании обсудить давно назревший вопрос о том, как ставить лодки на рыбной ловле:—на камнях, якорях или привязи? В епархиальной лавке играли в шашки, и собиралась интеллигенция—Бланманжов, А. В. Варыгин. Клуб же коммерческий был у мыльника Зяброва, любителя пожаров. У него всегда сидели аблокаты и языки (слово и дело!): аблокаты писали кляузы и бумаги, языки свидетельствовали все, что угодно. По рядам таскались нищие, юридивые,—Зябров над ними „измывался“: зимами примораживал слюной к каменному полу серебряные пятаки и приказывал нищим отдирать их зубами в свою пользу, летом предлагал за гривенник выпить ведро воды (дурачок Тига-Гога выпивал) или устраивал гонки, точно на пожарном параде. Потешался Зябров и над прохожими: выкидывал за дверь часы на нитке, бросал конфетные коробки с тараканами или с дохлой крысой. В каменных рядах было темно, сыро, пахло крысами, гнилыми кожами, тухлыми сельдями.

Иван Емельянович Ратчин, высокий, худой, в ватном картузе, приходил в свою лавку без пяти минут семь, гремел замками и поучал мальчиков и приказчиков своему ремеслу: надо было при покупателях говорить:

не—дают, а скальвают,

не—уступить, а сколоть,

не—продавай, а прикальвай,

не—торгуйся, а божись,

не—150 руб. 50 коп., а арци-иже-он-кон иже-

он-кун,

не—90, а твердо-он.

Покупателям надо было двери отворять и за ними двери затворять: не обмеришь, не обманешь—не продашь. Иван Емельянович уходил в конторку, щелкал на

счетах, читал вслух библию, в конторку же призывал и провинных (а мальчиков и без вины) и, под вечной лампадой, проучивал, смотря по вине: или двуххвосткой, или вологой. В двенадцать приходил хлебник: давал на хлебника приказчикам пятак, а мальчикам три копейки, выходил к о. Левкоеву поиграть в шашки, по гривеннику партия,—обыгрывал всех молча: чешской заниматься не любил. С покупателями говорил строго, только с оптовыми.

Запорка была половина восьмого, а в восемь по рядам бегали волкодавы, рядские собаки. В девять город засыпал, и на вопрос:

— Кто идет?—

надо было отвечать, чтобы не угодить в участок:

— Обыватель!..

В доме (за волкодавами у каменных глухих ворот) Ивана Емельяновича Ратчина было безмолвно, лишь вечером из подвала, где жили приказчики с мальчиками, неслоь придавленное пение псалмов и акафистов. Дома у приказчиков отбирались пиджаки и штиблеты, а у мальчиков штаны (дабы не шаманались ночами), и сам Иван Емельянович регентовал с аршином в руке, которым „учил“. В подвале окна были с решетками, лампы не полагалось, горела лампада. Вечером, за ужином, Иван Емельянович сам резал во щах солонину, первый зачерпывал щи деревянной ложкой, зевавших бил ею по лбу, и солонину можно было брать, когда сам говорил:

— Ешь со всем!

Ивана Емельяновича звали не иначе, как—сам и папаша. Жили под пословицею: „Папаша придет—все дела разберет“¹⁾. Была у Ивана Емельяновича дебелая жена, га-

¹⁾ Пословица гласит: „Дело не наше, сказала мамаша, папаша придет—все дела разберет“.

давшая на кофе о червонном короле, но в постель с собой клал Иван Емельянович не ее, а Машуху, доверенную ключницу. Перед сном у себя в душевной спальне Иван Емельянович долго молился,—о торговле, о детях, об умерших, о плавающих и путешествующих,—читал псалмы. Спал чутко, мало,—по-стариковски. Вставал раньше всех, со свечою, снова молился, пил чай, приказывал—и уходил на весь день в лавку. Дома без него было легче (быть может, потому, что это был день?), и из коморок выползали к „самой“ приживалки. Каждую субботу после всенощной Иван Емельянович порол своего сына Доната. На Рождество и на Пасху приезжали гости—родня. 24 июня (после пьяной Ивановой ночи!), в день именин, на дворе нищим устраивался обед. В прощенное воскресенье приказчики и мальчики кланялись Ивану Емельяновичу в ноги, и он говорил каждому:

— Открой рот, дыши!—

чтобы учуять водочный запах.

Так, между домом, лавкой, библией, поркой, женой, Машухой,—прошло сорок лет. Так было каждый день—так было сорок лет,—это срослось с жизнью, вошло в нее, как вошла некогда жена, вошли дети, как ушел отец, как пришла старость.

Сын Ивана Емельяновича, Донат, родился мальчиком красивым и крепким. В детстве у него было всё: и бабки, и чушки, и купанье на реке у перевозчика, и змеи с трещеткой, и голуби, и силки для щеглят, и катанье на простынях, и покупка-продажа подков, и кулачные бои,—это было в дни, когда, за малым его ростом, Доната не замечали. Но к пятнадцати годам Иван Емельянович его заметил, сшил ему новые сапоги, картуз и штаны, запретил выходить из дома, кроме как в училище и церковь, следил, чтобы он научился красиво писать, и усиленно начал пороть по субботам. Донат к пятнадцати годам

возрос, кольцами завились русые кудри. Сердце Доната было создано к любви. В училище учитель Бланманжов заставлял Доната, как и всех учеников, путешествовать по карте: в Иерусалим, в Токио (морем и сушей), в Буэнос-Айрес, в Нью-Йорк,—перечислять места, широты и долготы, описывать города, людей и природу,—городское училище было сплошной географией, и даже не географией, а путешествием. Бланманжов так и задавал: выучить к завтраму путешествие в Йоркшир. И в эти же дни расцвела первая любовь Доната, прекрасная и необыкновенная, как всякая первая любовь. Донат полюбил комнатную девушку Настю, черноокою и тихую. Донат приходил вечерами на кухню и читал вслух Жития свв. отец. Настя садилась против, опирала ладонями голову в черном платочке, и—пусть никто кроме нее не слушал!—Донат читал свято, и душа его ликовала. Из дома уходить было нельзя,—великим постом они говели и с тех пор ходили в церковь каждую вечерню. Был прозрачный апрель, текли ручьи, устраивались жить птицы, сумерки мутнели медленно, перезванивали великопостные колокола, и они в сумерках, держась за руки, в весеннем полусне, бродили из церкви в церковь (было в Ордынине двадцать семь церквей), не разговаривали, чувствовали, чувствовали одну огромную свою радость. Но учитель Бланманжов тоже ходил к каждой вечерне, заметил Доната с Настей, сообщил о Левкоеву, а тот Ивану Емельяновичу. Иван Емельянович, призвав Доната и Настю и задрав Настины юбки, приказал старшему приказчику (при Донате) бить голое Настино тело вологами, затем (при Насте), спустив Донату штаны, порол его собственноручно, Настю прогнал в тот же вечер, отослал в деревню, а к Донату на ночь прислал Машуху. Учитель Бланманжов заставил Доната на другой день путешествовать через Тибет к Далай-Ламе и поставил единицу, потому что к Далай-Ламе евро-

пейцев не пускают. Тот великий пост, с его сумерками, с его колокольным звоном, тихие Настины глаза — навсегда остались прекраснейшими в жизни Доната.

Вскоре Донат научился у приказчиков лазить ночами в форточку, через выпиленную решетку и через забор в город, в Ямскую слободу, в „Европу“. Стал ходить с отцом за прилавок. По праздникам рядился, ходил гулять на Большую Московскую. Сдружился с иеромонахом Белоборского монастыря о. Пименом; летом заходил к нему ранними, росными утрами, вместе купались в монастырском пруде, гуляли по парку, затем в келии, за фикусами, под канарейкой, в крестах и иконах, выпивали черносмородиновой, о. Пимен рассказывал о своих богомолицах и читал стихи собственного сочинения, вроде следующего:

О, дево, крине рай!
Молю тя, воздыхая:
Возври на мя умильно,
Тя возлюбил бо сильно!¹⁾

Иногда к ним примыкали и другие монахи, тогда они шли в потаенное место, в башню, посылали мальчишек за водкой, пили и пели „Коперника“²⁾ и „Сашки-канашки“ с припевом на мотив „Со святыми упокой“. Иногда вечерами о. Пимен надевал студенческую куртку, и они с Донатом отправлялись в цирк. Монастырь был древен, с церквями, вросшими в землю, с хмурыми стенами, со старыми звонницами, — и Пимен же рассказывал Донату о том, что есть в мире тоска. Пимен же познакомил Доната с Уры-

1) Вот продолжение стихотворения:

Чернец аз есмь смиренный,
Зело в тебя влюбленный,
Забывый об обете
(Держи сие в секрете!)
И, аще не противен

2) „Коперник целый век трудился“...

Тебе аз, грешный Пимен,
Молю лобзанье дати.
В субботу аз тя ждати
У врат священных буду...
Затем порнография.

ваихой: июньскими бессонными ночами, перебравшись через забор, с бутылкой водки, Донат шел к затравленной, сданной купцами под опеку, красавице-вдове миллионера-ростовщика Урываева, стучал в оконце, пробирался через окно в ее спальню, в двухспальную постель. Любились страстно, шептались, — говорили — ненавидели — проклинали. Ростовщик Урываев — семидесятилетним — семнадцатилетней взял Оленьку в жены, для монастырского блуда, вытравил в ней все естественное, умирая завещал ей опеку. Красавица-женщина спилась, кликушествовала: город ее закорил, „замудровал“... Но и эта последняя любовь Доната была недолгой, — на этот раз донес, донес в стихах написал поэт-доносчик А. В. Варыгин.

Кто знает?

Кто знает, что было бы с Донатом?

В 1914 году, в июне, в июне горели красными пожарами леса и травы, красным диском вставало и опускалось солнце, томились люди в безмерном удушии.

В 1914 году загорелась война и за ней в 1917 году — Революция.

В древнем городе собирали людей, учили их ремеслу убивать и отсылали — на Беловежские болота, в Галицию, на Карпаты — убивать и умирать. Доната угнали в Карпаты. В Ордынине провожали солдат до Ямской слободы.

Первым погибнул в городе Огонек-классик, честный ярыга, спившийся студент, — умер, — повесился, оставив записку:

„Умираю потому, что без водки жить не могу. Граждане и товарищи новой зари! — когда

класс изжил себя—ему смерть, ему лучше уйти самому.

Умираю на новой заре!“

Огонек-классик умер пред новой зарей

В девятьсот шестнадцатом году провели мимо Ордынина к заводу железную дорогу, — и последний раз схирили купцы, „отцы города“: инженеры предложили городу дать взятку, и отцы города изъявили на то полное свое согласие, но назначили столь несуразно мало, что инженеры почли долгом поставить станцию в десяти верстах, на заводе. Поезда пробегали мимо города, как угорелые, — и все же первый поезд встречали обыватели, как праздник, — вываливали к Вологе, а мальчишки для удобства залезали на крыши и ветлы.

И первый поезд, который остановился около самого Ордынина, — это был революционной поезд. С ним вернулся в Ордынин Донат, полный (недоброй памяти!) воспоминаний юношества, полный ненависти и воли. Нового Донат не знал, Донат знал старое, и старое он хотел уничтожить. Донат приехал творить — старое он ненавидел. В дом к отцу Донат не пошел.

По древнему городу, по мертвому Кремлю ходили со знаменами, пели красные песни, — пели песни и ходили толпами, когда раньше древний, кононный купеческий город, с его монастырями, соборами, башнями, обулыженными улицами, глухо спал, когда раньше жизнь теплилась только за каменными стенами с волкодавами у ворот. Кругом Ордынина лежали леса, — в лесах загорались красные петухи барских усадеб, из лесов потянулись мужики с мешками и хлебом.

Дом купца Ратчина был взят для Красной гвардии. В доме. Бланманжова поселился Донат. Донат ходил всюду

с винтовкой, кудри Доната вились по-прежнему, но в глазах вспыхнул сухой огонь — страсти и ненависти. Соляные ряды разрушили. Из-под полов тысячами разбежались крысы, в погребах хранилась тухлая свинина, в фундаментах находили человеческие черепа и кости. Соляные ряды рушились по приказу Доната, на их месте строился Народный Дом.

Вот и все.

Вот еще что (кому не лень, иди, посмотри!): каждый день в без пяти семь утра к новой стройке Народного Дома, как раз к тому месту, где была торговля „Ратчин и Сын“, приходит каждый день древний старик, в круглых очках, в ватном картузе, с иссохшей спиной, с тростью, — каждый день садится около на тумбу и сидит здесь весь день, до вечера, до половины восьмого. Это — Иван Емельянович Ратчин, правнук Дементия.

В городе — голод, в городе скорбь и радость, в городе слезы и смех. Над городом идут весны, осени и зимы. По новой дороге ползут мешочники, оспа и тиф.

На кремлевских ордынинских воротах уже не написано:

Спаси, Господи,
Град сей и люди твоя
И благослови
В ход вверата сии.

Впрочем, в городе, кроме купцов, были дворяне, мещане и разночинцы, город же лежит за тысячу верст отовсюду, в Закамьи, в лесах, и в город приходили белые.

В летописи летописец сказал о землях ордынских: —

„Стоить городъ Ордынинъ изъ камня. А земли тѣ богаты камнемъ горючимъ и рудою магнитной, къ коей пристаеть желѣзо“, —

и за Ордыниным полег завод металлургический. Земли же ордынинские — суходолы, доли, озера, леса, перелески, болота, поля, тихое небо, — проселки. Небо иной раз хмуро. в сизых тучах. Лес иной раз гогочет и стонет, иными летами горит. Проселки, — ползут-вьются проселки кривою нитью, без конца, без начала. Иному тоскливо итти, хочет пройти попрямее — свернет, проплутает, вернется на прежнее место!.. Две колеи, подорожники, тропка, а кругом, кроме неба, или ржи, или снег, или лес, — без конца, без начала, без края. И идут по проселку с негромкими песнями: иному те песни — тоска, как проселок. Ордынин родился в них, с ними, от них.

В летописи и „Истории Великороссии, Религии и Революции“ летописец архиепископ Ордынский Сильвестр сказал о людях ордынских:

— „Жили въ лѣсахъ, какъ звѣри, ѣли все нечистое, срамословіе между ними предъ отцами и невѣстками; браковъ среди нихъ не бывало, но игрища между селами, сходились на игрища, на плясаніе и на всякія бѣсовскія игрища и здѣсь умыкали себѣ невѣсть, съ которыми уговаривались, имѣли по двѣ и по три жены; если кто умиралъ, творили тризну по немъ, затѣмъ приготавливали великій костеръ (кладу) и, положивши на немъ мертвеца, сжигали его, и послѣ этого, собравши кости, влагали ихъ въ сосудъ малый и ставили его на столбѣ на путяхъ, что дѣлають и до сего дня“.

И теперешняя песня в метели:

— Метель. Сосны. Поляна. Страхи.—

— Шооя, шо-оя, шоооя...

— Гвиуу, гаауу, гвиуууу, гвиууууу, гаауу.

И: —

— Гла-вбумм!

— Гла-вбумм!!

— Гу-вуз! Гуу-вууз!..

— Шоооя, гвиуу, гааауу...

— Гла-вбуммм!!

И —

КИТАЙ-ГОРОД.

Это из его бродяжеств.—

Начали в Москве, в Китай-Городе, за китайской стеной, в каменных закоулках и подворьях, в газовых фонарях — каменная пустыня. Днем Китай-Город, за китайской стеной, ворочался миллионом людей и миллионом человеческих жизней — в котелках, в фетровых шляпах и зипунах, — сам в котелке и с портфелем облигаций, акций, векселей, накладных, биржи, — икон, кож, мануфактур, изюмов, золота, платины, Мартьяныча, — весь в котелке, совсем Европа. — А ночью из каменных закоулков и с подворий исчезали котелки, приходили безлюдье и безмолвье, рыскали собаки, и мертво горели фонари среди камней, и лишь из Зарядья и в Зарядье шли люди, редкие, как собаки, и в картузах. И тогда в этой пустыне из подворий и подворотен выползал тот: Китай без котелка, Небесная Империя, что лежит где-то за степями на востоке, за Великой Каменной Стеной, и смотрит на мир раскосыми глазами, похожими на пуговицы русских солдатских шинелей. — Это один Китай-Город.

И второй Китай-Город.

В Нижнем-Новгороде, в Канавине, за Макарьем, где по Макарью величайшей задницей та же рассаживалась московская дневная Ильинка, в ноябре, после сентябрь-

ских миллионов пудов, бочек, штук, аршин и четвертей товаров, смененных на рубли, франки, марки, стерлинги, доллары, лиры и прочие,—после октябрьского разгуля, под занавес, разлившегося Волгой вин, икор, „Венеций“, „европейских“, „татарских“, „персидских“, „китайских“ и литрами сперматозоидов,—в ноябре в Канавине, в снегу, из заколоченных рядов, из забитых палаток, из безлюдья—смотрит солдатскими пуговицами вместо глаз—тот: ночной московский и за Великой Каменной Стеьей сокрытый Китай. Безмолвие. Неразгадка. Без котелка. Солдатские пуговицы—вместо глаз.

Тот Московский—ночами, от вечера до утра. Этот—зимами, от ноября до марта. В марте волжские воды зальют Канавино и унесут Китай на Каспий.

— Это из его бродяжеств.

И третий Китай-Город.

Вот. Лощина, сосны, снег, там дальше—каменные горы, свинцовое небо, свинцовый ветер. Снег рыхл, с трех сторон мокрые сосны, и третий день дует ветер: примета знает, что ветер ест снег. Март. В соснах — поселок, за холмами—город, в лощине—завод. Не дымят трубы, молчит домна, молчат цеха—и в цехах снег и ржа. Стальная тишина. И из прокопченных цехов, от фрезеров и аяксов, от молотов и кранов, из домны, из прокатного от поржавевших болванок—глядит: Китай, усмеваются (как могут усмеяться!) солдатские пуговицы.

Там, за тысячу верст, в Москве огромный жернов революции смолот Ильинку, и Китай выполз с Ильинки, пополз...

— Куда?!

— Дополз до Таежева?!

— Врешь! Врешь! Врешь! Загорит еще домна, покаты болванки, запляшут еще аяксы и фрезеры!

— Вре-ошь! Вре-оошь!—и это не истерически, а быть может разве с холодной злобой, со стиснутыми скулами.— Это Архип Архипов.

Необходимое примечание:

Это уже сегодня, теперешние дни.

Белые ушли в марте—и заводу март. Городу же (городу Ордынину)—июль, и селам и весям—весь год. Впрочем,—каждому—его глазами, его инструментовка и его месяц. Город Ордынин и Таежевские заводы—рядом и за тысячу верст отовсюду.— Донат Ратчин—убит белыми: о нем—всё.

ИЗЛОЖЕНИЕ

ГЛАВА I. ЗДѢСЬ ПРОДАЮТСЯ ПЪМАДОРЫ.

В городе, городское, по-городскому.

Древний город мертв. Городу тысяча лет.

Знойное небо льет знойное марево, и вечером долго будут желтые сумерки. Знойное небо залито голубым и бездонным, церковки, монастырские переходы, дома, земля—горят. Сон наяву. В пустынной тишине бьют стеклянным звоном колокола в соборе: — дон, дон, дон! — каждые пять минут. Этими днями—сны наяву.

На монастырских воротах красная вывеска с красной звездой:—

— Отдел Народной Охраны Ордынского Совдепа.

У монастырских ворот часовой. И из дальних келий несутся в пустыню дня неумные звуки кларнета, — то учится играть на кларнете начальник народной охраны товарищ Ян Лайтис. Древен монастырь Введенъ-на-Горе; от келии к келии, от церкви к церкви идут переходы, и к белым стенам прилепились, выросли боковушки, ставшие от времени коричневыми. Ночами похож монастырь, как Василий Блаженный, на декорации из театра. Введенъ-на-Горе:—были у России дни, когда Россия шла от Москвы, от московских застав, шла на восток и на север, в леса и пустыни, монастырями, в расколе. Стоит Ордынин в Закамьи,—к южному закрою небесному степи,

к северному—леса да болота, к востоку—горы. Стоит Ордынин на холме, над рекою Вологою, в лесах, город из камня. И неизвестно, кто по кому: князя ли Ордынины прозвались по городу, или город Ордынин по князьям прозвался? ¹⁾).

Последний раз город жил семьдесят лет назад. Была у России такая эпоха, — чорт его знает, как назвать эту эпоху! — когда и России-то собственно не было, а было некое бесконечное, в зное засохшее пространство с полосатыми верстами, мимо которых мчались до Петербурга чиновники, с тем, чтобы перед императором там прочесть свою залихватскую подпись, — и у чиновников не было лиц, а было нечто, вымороченное в синее — казенное — жандармское сукно; — недаром по июльскому зною — по Гоголю — в те дни мчались чиновники в шубах, — мчались с тем, чтобы у застав, в полосатых будках, менять подорожные и проезжать города с приглушенными глухарями. Было у России в те дни лицо выморочено, как у чиновников, походили те дни на испепеляющий июль, тот, что приносит голод и засуху. Недаром та эпоха разразилась Севастополем. И от этой эпохи остался в Кремле, у заставы, против монастырских ворот дом, — халуйской архитектуры! — с полосатой будкой у ворот, выкрашенный в киноварь, но с белыми пилястрами в каждом простенке и с голубыми наличниками. Князя Ордынины раздвоились на Ордынины и Волковичей, но и генералы Волковичи перевелись, жил в правой угловой Андрей Волкович, помещался в подвале сапожник Семен Матвеев Зилотов, снимали в мезонине комнаты советская барышня Оленька Кунц да обыватель Сергей Сергеевич. — Князя же Ордынины — разместились в другом конце парка у Ста-

¹⁾ Князя же Ордынины, впрочем, выродились уже и в купцов.

рого Взвоза, у Старого Собора, не в родовом уже, а в купеческом доме: *мамаши Ордыниной*.

Против дома монастырские ворота, справа соборная площадь, исхоженная столетиями, истомленная многими зноями, за соборною площадью Ордынинский дом, тоже архитектуры халуйской (бывший — купцов Попковых!), сзади обрыв, поросший медноствольными соснами. С холма от заставы видна река Волога, за рекой, за полями и заводами, в лесах далеко видны: белые колокольни, реденевские и иные. И за лесом, в новых холмах черные трубы торчат: завода, — это уже иное.

Знойное небо льет знойное марево, вечером будут желтые сумерки, — и вечером под холмом вспыхнут костры: это будут голодные варить похлебку, те, что тысячами ползут в степь, за хлебом, и из-под холма понесутся тоскливые песни. Город будет уже спать: город застарел в военном положении. Ночью от полоев и заводов пойдут туманы. Ночью по городу ходят дозоры, бряцая винтовками. Ночью — ночью обыватель Сергей Сергеевич спустится к Семену Матвееву Зилотову, в свежем одном белье, сядет по-холостому на подоконник, поджав отекавшие свои ноги, и будет рассказывать о соусе майонезе и о телячьих котлетах.

— Дон! Дон! Дон! — бьют куранты в соборе.

Иные дни. Теперешний век.

У иссохшего в ревматизме сапожника Семена Матвеева Зилотова скошено иссохшее лицо на сторону. Мигая кривым своим глазом, он говорит:

— Ноне идет осьмья тысяча четыреста двадцать седьмой год! — И добавляет с усмешкой: — Не верите? — Проверьте-с! Я же клянусь: ей-чорту, пентаграмма!

У Семена Матвеева Зилотова, в подвальном окне, кроме кардонки с сапогом, как раз против вывески:

— Отдел Народной Охраны Ордынского Совдепа,—

приклеено объявление:

— Здесь продаются пѣмадоры,—
и нарисован красный помидор.

Горят камни. В Кремле пустыня. Иные дни. Сон наяву.—В заповодни придет со службы из Отдела Народной Охраны Оленька Кунц, будет распевать романсы, а желтыми сумерками пойдет с подружками в кинематограф „Венеция“.

Бьют куранты:

— Дон! Дон! Дон!

— Здесь продаются пѣмадоры.—

Оленька Кунц и мандат.

День отцвел желтыми сумерками, к ночи пошли сырые туманы.

В монастыре, утром на службе, Оленька Кунц размножала на „Ренео“ мандаты. В маленькой келии было по-прежнему, как при монахинях, чисто и светло, на открытых окнах грелись герани и бальзамины, в монастырском саду пели птицы. Оленька Кунц вертела:

„Мандат.

Дан сей тов. на право
произвести у гр. обыск
и, в случае необходимости, арест.

Начальник Охраны—

Секретарь—

Делопроизводитель—

И под словом „делопроизводитель“ Оленька Кунц расписывалась неумелым своим почерком и все же с хвостиком подписи:—„О. Ку“, и палочки, и хвостик.

В монастыре утром, в исполкоме (тоже на окнах здесь грелись бальзамины), в исполкоме собирались — знамение времени — кожаные люди в кожаных куртках (большевики!) — каждый в статью, кожаный красавец, каждый крепок, и кудри кольцами под фуражкой на затылок, у каждого больше всего воли в обтянутых скулах, в складках, у губ, в движениях утюжных, — и дерзания. Из русской рыхлой, корявой народности — лучший отбор. И то, что в кожаных куртках, — тоже хорошо: не подмочишь этих лимонадом психологий, так вот поставили, так вот знаем, так вот хотим, и — баста! Впрочем, Карла Маркса никто из них не читал, должно быть. Петр Орешин, поэт, про них (про нас!) сказал: „Или — воля голытьбе, или — в поле на столбе!“. Архип Архипов с зари сидел в исполкоме, писал и думал — день встретил его с побледневшим лбом, над листом бумаги, со сдвинутыми бровями, с бородою чуть-чуть всклокоченной, — а воздух около него (не так, как всегда после ночи) был чист, ибо не курил Архипов. И когда пришли товарищи, и когда Архипов передал лист своей бумаги, среди прочих слов прочли товарищи бесстрашное слово: *расстрелять*.

И еще — тем же утром в монастыре, в дальней келии за бальзаминами, у наугольной башни, поросшей мохом, — мохом в молве народной поросший архиепископ Сильвестр писал сочинение о „Великороссии, Религии и Революции“. Бывший кавалергард и князь, мохом поросший седенький попик в черной ряске, архиепископ Сильвестр сидел у столика в бумагах, и на столике среди бумаг лежала черного хлеба краюха, и в высоком кувшине

стояла вода из ключа. В бальзаминах оконце было высоко а у двери сидел черный монашек-келейник, один и случайный в девичьем монастыре. Попик, мохом поросший, писал поспешая, и монашек, в забытьи, старорусские песни мурлыкал, знаясь в зное.

О. Ку (и палочки, и хвостик).

После службы Оленька Кунц ходила в столовую, говорила с подружкой о новом знакомом из Всепрофинанса, и затащила подружку к себе (все кавалеры по очереди были поклонниками Оленьки Кунц, и каждую неделю была у нее новая подружка для секретов и тайн). От калитки до заднего хода—по доскам, среди муравы проложенным по заглохшему двору,—пробежали, шумя каблучками, шаткой лестницей, мимо удушливого нужника, поднялись в мезонин, распахнули оконца и пели:

В том саду, где мы с вами встретились,
Хризантемы куст...

Вскоре снова сбежали на двор, в сад пошли, ели малину. День отцвел желтыми сумерками, в сумерки Оленька Кунц пошла в кинематограф „Венеция“, там „играла“ Вера Холодная. В „Венеции“ к Оленьке Кунц подошел начальник Народной Охраны товарищ Ян Лайтис,—в темноте, когда „играла“ Холодная, жал Оленьке руки товарищ Лайтис. Затем Оленька Кунц ходила с Лайтисом к обрыву, под обрывом в тумане горели огни голодающих, шли уже туманы, и город безмолвствовал — среди лесов, среди болот, — в военном положении: Оленька Кунц хохотала, когда дозоры спрашивали пропуск, и в смехе прижималась наивно к товарищу Лайтису. Товарищ Лайтис, в бархатной куртке, говорил о музыке, о Бетховене, о скрипке и кларнете.

Оленька Кунц попрощалась с товарищем Лайтисом у садовой калитки, садом прошла в дом, на минутку

вспыхнул в мезонине огонь, и дом замер. Ночь была темная, и седые, сырые поползли из Поречья туманы.

И тогда зазвонили резко у ворот (там, где полосатая стояла будка). Колокол прозвучал жалобно. У ворот стоял товарищ Лайтис с нарядом солдат. Отпер калитку Андрей Волкович.

Товарищ Лайтис спросил:

— Где здесь есть квартира овицера-дворянина-зду-дента Волковися?

Андрей Волкович безразлично ответил:

— Обойдите дом, там по лестнице во второй этаж.

Сказав, позевнул, постоял у калитки лениво и лениво пошел в дом, к парадному входу. Товарищ Лайтис с нарядом, гуськом, по доскам, среди дворовой муравы проложенным, пошел к заднему ходу. Лестница привела к заколоченной двери.

— Не здесь.

— Двери ломайте!

Дверь разломали, за дверью валялась побитая мебель, стоял бильярд. Новою дверью вошли на сгнившие хоры, и хоры затрещали под тяжестью тел, в полумраке копящихся зажигалок, шарахнулись в зале серые тени, посыпалась известь:

— Не здесь! Лесенка там на площадке, повыше.

В мезонине запахло ночной кислотой и жильем. На двери Сергея Сергеевича висела визитная карточка. Сергей Сергеевич появился в двери, в нижнем одном белье, со свечей, отекавший, дрожал, как осина, и свет от свечи расходился дрожащий.

— Где здесь квартера Волковича?

— Он не здесь! Он внизу! От парадного влево две комнаты!

— Обыскать! Дом оцепить.

В доме Андрея Волковича уже не было.

Товарищ Лайтис показал Сергею Сергеевичу мандат, где за подписью Лайтиса поручалось товарищу Лайтису произвести обыск и арест,—и была там еще—подпись—Оленьки Кунц:

О. Ку (и палочки, и хвостик).

К Оленьке Кунц постучались! Оленька Кунц плакала. К ней вошел товарищ Лайтис.

— Это нехорошо, нехорошо! я не одета, уйдет!— Оленька Кунц свою грамматику образовывала и почитала неприличным, говоря на вы, употреблять глагол во множественном числе. Оленька Кунц говорила: „вы меня любят?“, а не—„вы меня любите?“.

Оленька Кунц сидела на кровати, поджав ноги, в сорочке, и за окном у кровати, вдалеке лиловела заря. Сорочка не скрыла Оленьки Кунц, хоть и сложила руки Оленька Кунц на груди, и упорно уперлись в грудь Оленьки Кунц глаза товарища Лайтиса, потом скользнули по полным коленам. Губы Оленьки, в плаче, сжались кокетливо, точно вишенки.

— Это нехорошо, нехорошо! Я не одета. Мне жалко Андрюшу! Уйдет!

Товарищ Лайтис вышел. Сергей Сергеевич бежал по дому, тяжело оседая на каждую ногу, служаая. Андрея Волковича не нашли. Начальник Народной Охраны ушел. Сергей Сергеевич провожал. По улицам ползли сырые туманы, вдалеке лиловела заря.

Оленька Кунц плакала, в серой рассветной нечистой мути, плакала обиженно Оленька Кунц: ей было жалко Андрюшу Волковича, и она любила поплакать.—И в серой рассветной нечистой мути понесся по дому богатырский хохот: то хохотал Сергей Сергеевич. Сергей Сер-

геевич тяжело заступал, оседая на каждую ногу, вниз по каменной лестнице в подвал к Семену Матвееву Зилотову. Семен Матвеев стоял около печки, печь полыхала, в баночках грелись у огня какие-то снадобья.

— Видал?!— сказал Сергей Сергеевич саркастически и захохотал, держась за живот.

Семен Матвеев ответил:

— Пинтограмма, а не пинтогон.

— Молодец! А?! Сам отпер и—пожалуйте в задний проход! А?! Хо-хо! Ищи в поле ветра. Хо-хо!..

— Единственно жаль, что русский. Ей-чорту. Одначе:— зришь сей знак?—иностранец найден

— Видал?! Хо-хо!.. Все варишь?—Ты бы изжарил свиную котлетку! Хо-хо, не укупишь!

Серую нечистую мутью начинался рассвет, и ползли по улице сырые туманы. На рассвете в тумане заиграл на рожке пастух, скорбно и тихо, как пермский северный рассвет.

Сергей Сергеевич сел по-холостому, на подоконник, поджав под себя отекившие свои ноги. В печи, пред полымем, в тигельках грелись какие-то клеи, из-за печки был выдвинут столик с раскрытыми книгами, где „ш“ походило на „т“ и „в“ походило на „п“, и с глобусом, на котором Россия была закрашена красным. Семен Матвеев Зилотов, нося сосредоточенно от печки к столу тигельки, ходил походкой, похожей на походку старого кобеля.

Семен Матвеев Зилотов взял со стола пятиугольный картон, где в центре, в кружке написано было слово—Москва, а в углах—Берлин, Вена, Париж, Лондон, Рим. Молча подошел к Сергею Сергеевичу, Семен Матвеев сложил углы пятиугольника: Берлин, Вена, Париж, Лондон, Рим сошлись вместе. Снова разогнув углы, Семен Матвеев по новому сложил пятиугольник—Берлин, Вена, Париж, Лондон, Рим склонились к Москве, и картон стал походить на помидор, окрашенный снизу красным.

— Зришь сей знак?—сказал с великою строгостью Семен Матвеев Зилотов.—Иностранные грады, вместе сошедшись, поклонились граду Москве. Но Москва осталась в унижении.

Семен Матвеев подошел к печке и вылил жидкость из одного тигелька в другой, появился сизый дым, зашипело, запахло жженою серой.

— Пентаграмма,—сказал Семен Матвеев и стал у стола, опираясь рукою о глобус.—Клянись: пентаграмма, ей-чорту! И открою великую тайну.

— Ты про что?—спросил Сергей Сергеевич.

— Клянись: пентаграмма, ей-чорту! И открою великую тайну. Зришь, что творится в России?

— Известное дело—хамодержавие, голод, разбой,— что творится!..—ответил Сергей Сергеевич.—Свинина— семьдесят пять! Что творится?! Россия кверху ногами ходит.—Сергей Сергеевич улыбнулся.—Ты вот пойдя, купи-ка мне колбасы копченой! хе-хе!—Сергей Сергеевич желчно повеселел:—Хо-хо!.. Андрей, Андрей-то как!—„пожалуйста во второй этаж!“ Хо-хо!.. Видал?! Хо-хо!

— Постой!—воскликнул Семен Матвеев Зилотов и стукнул рукою по глобусу.—Россия против всего мира? В России голод, смута, смерть?—и будет двадцать лет!.. Клянись,—познаешь тайну!..

Сергей Сергеевич желчно повеселел.

— Ну, что?!—клянусь!

— Клянись: ей-чорту, пентаграмма!

— Клянусь: ей-чорту, пентаграмма! Ну, что?!

Семен Матвеев задвигался нелепо, присел на корточки, утвердил равновесие и зашептал:

— Через двадцать лет Россия спасется. В монастыре, из игуменьиной келии, — там теперь Лайтис, товарищ, — есть переход теплый в зимнюю церковь. Во алтаре!

— Ты про что?

— Иностранец—Лайтис, товарищ! Во алтаре! Через двадцать лет будет спаситель. Россия скрестится с иностранным народом. Спаситель предается арабским волхвам. Я воспитаю!

— Ты про что?

— Ольгу Семеновну Кунц—с иностранцем Лайтисом. Красавица. Девственница. Кровью алтарь обагрится. А потом все сгорит, и иностранец,—огнем!

— Ты про что? хочешь мстить за Волковича?—Сергей Сергеевич спросил серьезно и тихо.

— Нет, Россию спасти!

(... И тогда из подворотен смотрит солдатскими пуговицами: Китай, Небесная Империя)...

— Ну, а Ольга Семеновна при чем?

— Ольга Семеновна—девственница! Красавица.

— Да ты про что? с голоду, что ли? Ты бы, вместо снадобий, щи бы варил!.. Уж пора!..

— Слушай! Зри!

Семен Матвеев Зилотов взял со стола толстую книгу и стал читать:

„Кто дерзнет разрешить от всех преступлений, которые век наш позорят, от всех пороков, распространяющих повреждение в государствах, от всех неустройств, общих и частных, которые общество воздыхать принуждают?—от недра праха даже до величия дневного светила, все приводит к познанию независимого Виновника, держащего цепь существ, и который един есть начало оных. Все вещает в одно же время душе, разуму, а особливо внутреннему чувствуванию, которое вопрошающего его никогда не обманывает. Чем более мы собираем свои мысли,

тем вяще примечаем сей знак неограниченной власти, сию печать величества, изображенную со всех сторон и на всех предметах!

Жил Семен Матвеев подобно раку-отшельнику, и подвал его был его раковиной: стоило Семену Матвееву махнуть на печке ногой—и валенок летел в угол, стоило махнуть второй ногой—и второй валенок становился в углу рядом с первым; стоило Семену Матвееву махнуть на печке ногой—и валенок летел в угол, разошедшиеся кирпичи, и никогда этого не бывало, ибо Семен Матвеев Зилотов даже во сне привык лежать необыкновенным вопросительным знаком;—стоило Семену Матвееву среди ночного мрака пожелать иметь при себе „Пентаграмму, или Масонский знак, перевод с французского“,—он свешивался с печки и безошибочно брал со стола „Пентаграмму“ и наощупь знал страницы.

Серая рассветная муть сползла с земли, загорелся день, яркий-жаркий. Серые туманы в небо ушли. Сергей Сергеевич поднялся к себе наверх. Оленька Кунц уже встала, плескалась водой, плескаясь было запела:—

В том саду, где мы с вами встретились...

— но вспомнила о товарище Лайтисе и обиженно замолчала. Сергей Сергеевич на таганке варил себе кофе из жженой ржи и, притворив поплотнее дверь, достал откуда-то из потайного места кусочек сахара и кусочек сыра; кофе же пил, разостлав на столе салфетку. После кофе, закурив папиросу, Сергей Сергеевич брился, надевал чесучевый пиджак с разведенными потом подмышниками; затем шел на службу в сберегательную кассу, где каждое первое число писал в „Ведомостях“ о том, что „операций за истекший месяц не происходило“ и „вкладов не поступало“. Перед службой Сергей Сергеевич заходил в некий

домок, где меняли запонки на масло; на службе, в зное, жужжали мухи, и Сергей Сергеевич, обливаясь потом, играл с помощником в преферанс с болваном; после службы Сергей Сергеевич ходил в советскую столовую, брал в судке домой обед, дома обедал, снова разостлав салфетку, после обеда спал и в сумерки шел на бульвар прогуляться.

— Нечто философическое о возрождении, и:

— Смерть старика Архипова, —

другого начетчика,—этим же рассветом.

Серую нечистою мутью зачинался рассвет. На рассвете заиграл на рожке пастух скорбно и тихо, как пермский северный рассвет. И огородник Иван Спиридонович Архипов встал у себя под горой с пастушьим рожком, из глиняного рукомойника тщательно мылся Иван Спиридонович на крыльчке, затем, засучив рукава сюртука своего, доил в коровнике корову,—и не пошел, не в пример другим дням, на гряды.

Мутью зачинался рассвет. В черной избе у Ивана Спиридоновича, в комнате, где можно чертить затылком по потолку, и с приземистыми оконцами, стоял письменный ореховый секретэр (верно сползший с чердака волковичевского дома, волковичевский же дом как раз над головой на горе стоял, и происходили Архиповы от волковичевских дворовых), и диван стоял кожаный, на котором, не раздеваясь, спал всегда Иван Спиридонович. Запалив две свечи на столе, отчего рассвет за оконцами посинел, сел Иван Спиридонович к столу и, в очках, с лицом худым и хмурым, читал толстую медицинскую книгу.— В рассвет же проснулся на чистой своей половине и сын Архип, в кожаной куртке пришел бодро на кухню, пил, стоя, молоко и ел ржаной хлеб. Отец книгу оставил.

ходил около, не по-старчески прямо, как всегда, руки заложив за спину.

— Медицина, как думаешь, — можно ей доверять? — спросил старик безразлично и взгляделся пристально в окно.

— Медицина — наука. Можно. А что?

— Так. Книгу у Данила Александрыча брал, ли стовал... Жары-то, жары какие!.. Тоже, думаю, можно, — Иван Спиридонович постоял у окна, пристально всмотрелся в холм с Кремлем и волковичевским домом, сползшим парком под самый обрыв.

В рассвет же ушел Агхип в исполком, а старик в своей комнате прилег на диван, — как никогда, — не стал готовить похлебки. И лишь когда уходил сын, подходил Иван Спиридонович к окну и долго провожал сына взглядом, и в глазах, впалых и хмурых, были тогда печаль и нежность. А в девять (половина седьмого по солнцу) Иван Спиридонович, переменяв старый сюртук на новый, валенки сняв, белый плат обмотав вокруг шеи и по-уши надвинув картуз с клеенчатым козырьком, пошел в больницу к доктору Невленинову. Дорога вверх шла через рожицу, пахло здесь сыростью и черемуховой вязью. Черемуховую ветвь наклонил к себе Иван Спиридонович, упали капли росы. Иван Спиридонович оторвал кустик, понюхал листья, растер их меж пальцев и сказал вслух, задумчиво и хмуро:

— Все же жизнь — прекрасная вещь.

И так с кустиком и шел до больницы, обсаженной веселыми елочками. В больнице сидел в кабинете доктора Невленинова, за письменным столом, как у себя, неподвижно, положив локти на белую клякс-бумагу, Даниил Александрович пришел с Натальей Евграфовной, и Наталия Евграфовна в белом платье стала тихо в стороне у окна.

— Ты меня знаешь, Даниил Александрыч, со мной говорить надо прямо, — Иван Спиридонович заговорил первым не здороваясь. — Делал исследование? Рак?

— Рак, — ответила Наталья Евграфовна.

— И ошибки в этом нет?

— Нет, мы проверили тщательно.

— Стало быть, рак!

— Да.

Иван Спиридонович скрестил узловатые свои пальцы, усмехнулся хмуро, помолчал.

— Так... Книгу твою почитал я, Даниил Александрыч. Там сказано, что рак в желудке — болезнь неизлечимая. То-есть, стало быть, смерть.

— Можно сделать операцию, — ответила тихо Наталья Евграфовна.

— Можно сделать, совершенно верно. Только это поллетатив-с, сами вы знаете, — говорил все время Иван Спиридонович, обращаясь к Даниилу Александровичу. — Сделаете вы мне операцию, а через два месяца снова делать надо. На старости лет мне мучиться трудно. Да и года, довольно! — Иван Спиридонович помолчал. — Ведь сам ты, Даниил Александрыч, знаешь... Да... — и замолчал, поперхнувшись.

Был тут один момент нехороший. Иван Спиридонович зорко следил за глазами Даниила Александровича, и глаза эти, серые, большие, на старческом лице, печальные и милые вдруг ушли куда-то от темных глаз Ивана Спиридоновича; Иван Спиридонович высоко поднял свою голову, был на шее у него белый платок вместо галстука, и показался платок этот —

— Ну, прощайте, иначе!..

— А как пишу вы принимаете? — спросила, поспешила спросить Наталья Евграфовна.

— Молоко, то-есть? Стакан в день выпиваю. Вам на прием надо иначе!.. Прощайте!

— Нет погоди, не спеши, Иван!

— Нет, прощай, Даня! Всего тебе лучшего!
Это всеми троими было сказано сразу. И было это нехорошо.

Даниил Александрович оставлял Ивана Спиридоновича, но тот не остался, заторопился. Лишь в прихожей, на сунув картуз, повернулся Иван Спиридонович поспешно, схватил крепко руку Даниила Александровича и поцеловал его.

— Смерть ведь. Дай еще поцелую!

На глаза Ивана Спиридоновича навернулись слезы, Даниил Александрович крепко прижал его к себе. Через прихожую прошла Наталья Евграфовна, Иван Спиридонович отвернулся к стене, сказал глухо:

— Старики мы, молодым место надо. Пусть поживут!

В этот день, в этот час бесстрашное написал в исполкоме слово—сын Архип Архипов:—*расстрелять*.

Дома Иван Спиридонович лег на диван лицом к стене, и так пролежал неподвижно до сына. А сын пришел в пять, то-есть в полчаса третьего по солнцу. И вместе они провели день, в домашних делах и заботах, до вечерней солдатской зари, что всегда играет в казармах, в девять по солнцу. В шесть Архип Иванович таскал воду с Вологи на гряды, поливал огурцы и капусту, на Вологе просматривал жерлицы (любил рыбу ловить), новых двух насадил окуньков, из исполкома рассыльная принесла „Известия“,— и у реки Архип Иванович застрял с газетами. Шло уже солнце к западу, напозднили желтые сумерки, от волковичевского сада вниз оседал малиновый дух, а на огородах пестрые огородницы песни орали. И в соборе били часы: дон-дон-дон!—точно камень, брошенный в заводь с купавами. В половине восьмого—на час—уходил Архип Ивано-

вич в город и, вернувшись, прошел к себе на чистую свою половину, сел за стол и сидел, как отец, очень прямо. Отец помогал сыну, считал на счетах, складывал числа быстро и точно. Темнело медленно, небо было зеленым, потом посинело, стало хрустальным.

И тогда в казармах заиграли зорю, и девушки на огородах пели очень грустное. В зорю пригнали коров, Иван Спиридонович пошел принять и доить. А когда он вернулся, Архип Иванович уже кончил считать, сложил бумаги и стоял среди комнаты. В комнате было темно, и месячный свет пал на переплет оконных рам и на пол. Был сын, как отец, невысокого роста, волосат, с бородою лопатой, и стоял, как отец, руки назад заложив,—тяжелые руки. Иван Спиридонович задержался минуту у дверей и вышел, и вернулся со свечей, поставил свечу на стол, сам сел около стола, локти на стол положил.

— Архип, надо мне с тобой поговорить. Слушай,—сказал строго старик.—У ученого философа какого-то, ты знаешь, сказано, что, если человеку надо два месяца умирать, да еще страдать при этом от болезни, так лучше—того, самому позаботиться... Ты еще говорил, что с этим согласен, потому-де, что смерть уж не так и страшна,—говорил Иван Спиридонович, тихо и медленно, туго собирая слова; голова его была опущена.

Архип Иванович сдвинулся с места.

— Говори, отец, толком,—сказал сын покойно.—К чему говоришь? Слышишь?—и вот, когда сказал сын это *слышишь*, голос его дрогнул.

— Был я сегодня в больнице у Данила Александровича. И сказал он мне, что у меня неизлечимая болезнь, рак желудка, через два месяца мне умирать, а это время страдать и мучиться страшными муками. Понял?

Архип Иванович проделал странный круг по комнате: пошел быстро к отцу, но, сделав два шага, круто повер-

нул к двери, но снова вернулся и стал покойно около письменного стола, у окна, спиной к отцу.

— Ты говорил, Архип, да и я понимаю так, что лучше уж спозаранку. Говорил ты это, думаешь так?

Архип Иванович ответил не сразу и ответил глухо:

— Да. Думаю так,—сказал глухо.

— То-есть, что лучше умереть—самому позаботиться?

— Да,—сказал глухо.

— И я тоже думаю так. Ведь умрешь—и ничего не будет, все кончится. Ничто будет.

— Только, отец,—и слово *отец* дрогнуло больно.— Ты ведь отец мне,— всю жизнь с тобой прожил, от тебя прожил,— понимаешь, тошно!..

Иван Спиридонович повозился на стуле, точно что-то искал, затем поднялся и постоял,—и подошел к сыну, положил руки к нему сзади на плечи, прижал голову к кожаной куртке, к спине.

— Знаю. Понимаю. Ты мне—сын! Долго думал—говорить с тобой, нет ли?.. Трудно. Очень трудно,—перенеси! Мне тоже трудно. Пожить еще надо бы, на тебя, на сына, посмотреть,—на дела твои, ты ведь сын мне, кровь моя!.. Но гнить заживо, голодать, от боли орать—не хочу, не желаю! Погляди на меня.

Архип Иванович повернулся, встретились две пары темных глаз:—одни хмурые, больные, с блестящими широкими зрачками, на пергаментном лице,—другие молодые, упорные, вольные. Молчали долго и долго были неподвижны.

— Подожди, отец, я сейчас приду.

Архип Иванович вышел на двор, сел на крылечко около рукояйника, смотрел в небо, на звезды: уже перегибался июнь на июль, сменил платиновые июньские звезды на серебро, и были звезды как подушки царя Алексея на бархате его Азии. А Иван Спиридонович

снова сел за стол, скрестил пальцы, смотрел на свечу. Иван Спиридонович потушил ее дуновением, зажег снова, сказал:

— Был огонь, и не стало его, и опять есть. Странно!

Архип Иванович вошел через полчаса крепкой своей походкой, сел рядом с отцом и сказал ровным, тоже всегдашним голосом:

— Я бы на твоём месте, отец,— Делай как лучше. отец, как знаешь.

Иван Спиридонович встал, встал и сын, молча поцеловались. Иван Спиридонович порылся в заднем сюртучном кармане, вынул платок носовой, еще не развернутый, развернул его, но глаз не утер, ибо были сухи они, и, смятым уже, положил платок в брюки.

— Ты живи, сын, дела своего не бросай! Женись, детей народи, сын...

Повернулся, взял свечу и ушел. Архип Иванович стоял, заложив руки назад, точь-в-точь как отец. Затем подошел к окну, растворил его и так и остался стоять до рассвета. В Кремле в кинематографе „Венеция“ играл духовой оркестр, и шли от реки туманы.

Иван Спиридонович, на черной своей половине, в своей комнате, лег на диван, лицом к стене, и сейчас же уснул крепким сном. Рассвет пришел серою мутью, заиграл на рожке пастух скорбно и тихо, и Иван Спиридонович проснулся. Горела свеча, за окнами был туман, свеча начала пахнуть гарью. Иван Спиридонович подумал, что во сне он ничего не чувствовал, и прошли эти часы с вечера до зари совсем не страшно, как один миг. Тогда он встал и прошел на кухню, взял там из угла с полки револьвер, по дороге посмотрелся в зеркало, увидел хмурое свое и серьезное лицо, вернулся в свою комнату, потушил свечу, сел на диван и выстрелил себе в рот.

ГЛАВА II. ДОМ ОРДЫНИНЫХ.

Город из камня. И неизвестно, кто по кому: князья ли Ордынины прозвались по городу, или город Ордынин прозвался по князьям?— князья же Ордынины сроднились с Попковыми.

Часы у зеркала—бронзовые пастух и пастушка (еще уцелевшие)—здесь в зале бьют половину тонким стеклянным звоном, как романтический осьмнадцатый век, им отвечает кукушка из спальни матери, Арины Давыдовны,— и кукушка кричит пятнадцать, и кукушка—как Азия, Закамье, татарщина. И третьи часы бьют в соборе: дон-дон-дон!..—Тогда опять в большом доме немотно. Где-то скрипнула половица, разошедшая после зимней сырости. У дома на взвозе горит фонарь, свет его бороздит лепной пообвалившийся потолок, дробится в люстре—тоже еще уцелевшей. Красным огоньком, ровно вспыхивает папироса Глеба у окна, окна же со стеклами в радуге вмазаны крепко, навсегда. За те два года, что не было Глеба, дом верно полетел в пропасть,—он, большой дом, собиравшийся столетием, ставший трехсаженным фундаментом, как на трех китах, в один год полысел, посыпался, повалился. Впрочем, каинова печать припечатана уже давно.

Ровно вспыхивает папироса у окна, Глеб прислушивается к старому дому. В этом доме прошла его юность,

та, которая казалась всегда светлой безмерно и ясной,— и теперь двойтся мороком революции. И боль: уже без мечты о живописи и о молитве,—и о светлой девушке. В зале на стенах старинные портреты без рам. Огромный, желтый рояль ощерился, как бульдог, а в углу поставлены ширмы и за ширмами узкая кровать Глеба. В зале, за крепкими рамами, пахнет нежилем и сыростью, и едва примешивается запах красок и клея—художнический запах. Тускло поблескивают зеркала, те, что попорчены и пожухнули. Луна светит за окнами бледным предутренным светом. Ночь,—надо быть бодрым!

Снова бьют субтильно и стеклянно часы, осьмнадцатый век, и отвечает кукушка Азии. И сейчас же за часами, вместе с соборным перезвоном, робко звякает звонок внизу, в подъезде, и опять приходит тишина, спит ночной дом. Тогда Глеб зажигает огарок,—вспыхивает красный огонек, отбегают поспешно, мутнея, синие, ночные тени,—освещают лицо Глеба с сбившимися его волосами, с кривым и тонким носом, с большим, как на иконах, лбом,— и лицо иконописно.

Около спальни матери, в полуоткрытую дверь слышен храп—матери, урожденной Попковой, и Елены Ермаиловны, и оттуда пахнет несвежим человеческим телом. В комнате отца,—через щель видит Глеб,—у киота горит много тусклых лампад и высоких, тонких свечей, и Глеб видит у киота склоненного в молитве отца, видна худая его спина в халате и седые, совершенно белые его волосы. Видно лицо отца: в глазах его, в горбатом его носе, в полуоткрытых губах, в бороде всклокоченной и серой,—экстазное что-то—или, быть может, сумасшедшее?.. Всю жизнь разгульничал отец, князь Ордынин, в молодости укрепивший свое состояние, по безволю, капиталами Попковых,—а первой весной в революцию, когда разливались реки обильными своими весенними водами,—

изменил круто свою жизнь: из пьяного князя стал аскетом, днями и ночами в молитве.

В подъезде идет широкая лестница вниз, в корытце истоптанная тысячами ног. Здесь холодно, пахнет зимой, сыростью и гнилыми мехами. По бокам, направо и налево, уходят двери в кладовые—тяжелые железные двери за семью замками: за дверями хранилось богатство Попковых, собираемое (грабленное, должно быть?) веками и развешенное теперь—по базарам, по отделам утилизации и коммунхоза.—Слабо горит свеча. Глеб отворяет первую дверь парадного и спрашивает через вторую:

— Кто там?

Ему не сразу отвечают. Становится очень тихо, и слышно, как в парке поет малиновка.

— А это кто?—это вы, Глеб Евграфович?—спрашивает из-за дверей женский голос.

— Я. Кто там?

— Это мы, я, Марфуша,—да Егор Евграфович.

— Егорушка?

И Глеб быстро отпирает двери, чтобы увидеть родного своего старшего брата Егора.

...И за дверью идет пьяная июньская ночь...

Егор пьян. Он молчит. Красные его выпуклые глаза бессмысленны, но все же всегдашняя в них мягкость и сейчас смущение. Он в одной нижней рубашке, рваной и грязной, и босиком. Сзади Егора стоит Марфуша,—дальний отпрыск далеких дворовых крепостных. От Егора скверно пахнет—денатуратом и потом. Он неуверенно и смущенно отвечает на горячие поцелуи брата.

— Егорушка, милый!..—говорит Глеб, обнимая брата.

Егор молчит.

— Что же ты молчишь? Не рад?

— Мне стыдно, брат,—говорит Егор трудно.—Мне очень стыдно, что так мы с тобою встретились. Брат, тебе неприятно меня целовать, не целуй! Я не осужу тебя, брат!..

Но Глеб без слов сильнее прижимает костлявую грудь Егора и целует его губы и лоб.

— Я рад тебя видеть, Егор!..

— Брат! Я украл у Натальи пальто и пропил его. Я украл!.. Я не хотел совсем приходить, но меня нашла Марфуша. Мне стыдно... Матушка спит?.. А Борис? Не увижу его, презираю!.. Марфуша меня нашла... Я там с проституткою был...

Глеб, девственник, смущенно прерывает Егора.

— Егор, что ты? Нельзя так!—говорит он, как умеют говорить только девственники, и, извиняясь за брата, выглядывает виновато на Марфушу.

И Марфуша понимает его, обесчещенная девственница: уж очень измученно смотрят ее поблекшие глаза. Очень устало и поэтому хорошо говорит она:

— Ах, батюшка, Глеб Евграфович!.. Вот жакетку они взяли у Наталии Евграфовны... Как бы это, а?.. Я бы свою отдала, да не знаю, где выкупить... Вы бы поговорили с Натальей-то Евграфовной, чтобы барыне Арине Давыдовне не сказывала... А то Арина-то Давыдовна—затерзат.

Глеб поспешно отвечает:

— Конечно, поговорю. Конечно...

— Глеб, матушка спит?

— Спит, да.

— Я ее боюсь, да!

Егор опирается о плечо брата. Мелкою, зябкою дрожью дрожит худое его тело. Горит свеча.

— Глеб, я был там... Там разврат!.. Ты меня сейчас остановил. Думаешь, я не понял? Ты—чистый человек.

Но и я знаю, что такое чистота,—говорит Егор и тихо добавляет:—Сейчас бы поиграть...

У комнаты отца Егор останавливается на минутку, заглядывает и шепчет не то со смешком, не то покаянно:

— Не выдержал. Мерзости не выдержал! Вместе пили. Тогда я только пил, но был чистым. Понимаешь?

А у матерниной комнаты он ежится и бесшумно скользит мимо. В зале Глеб отдает ему свое платье. Горит свеча, освещая образ богоматери на мольберте, иконописное лицо Глеба и голое тело Егора.—Глеб—сознательно ли?—прячет богомать от Егора. Егор опирается о дверь, никнет бессильно головой, молчит, соображая, затем говорит тихо:

— Спасибо тебе, брат! Ты—брат!.. Борис—он не брат! Знаешь, он обесчестил Марфушу... Молчи, знай!.. Мы вместе пили. Потом он запер меня на крючок и пошел к Марфуше. Внизу. Я все слышал.

Снова молчит. Снова говорит:

— Поиграть бы сейчас на рояле... Но—спят!.. Спи, брат, святым сном! Я уже не могу!

И опять тишина. Опять тлеет папироса Глеба. За домом идет июнь, и в доме залегла зима.

По узкой лестнице, с выбитыми ступеньками и скрипучими перилами, Егор тихо идет вниз, в полуподвал, где широки и тяжелы каменные стены в сырости и тускло млеют в железных решетках оконца. Узкий коридор с каменным полом заставлен пустыми ларями, а на пустых ларях пудовые замки, и ключи под подушкой у матери.

— Егор Евграфович, я это... Провожу вас!..—устало и любяще говорит Марфуша.

— Уйди, не могу простить! Иди к Борису. Иди.

— Егор Евграфович...

— Молчи!..

Потолки в комнате Егора сводчаты и низки. И здесь замурованы окна, с низкого окна течет каплями сырость, и в сырости на подоконнике — лоскутья нотной бумаги. Егор лежит на кровати, на спине, положив руки на грудь, худой и хрипящий в дыхании. Красные его воспаленные глаза смотрят мутно к двери. У двери стоит Марфуша.

— Марфа!—говорит трудно Егор.—Никто, кроме брата, не виноват. Но ты не знаешь. Ты не знаешь, что в мире есть закон, которого не преjdeши, и он велел быть чистым. Над землею величайшее очищение прошло — революция. Ты не знаешь, какая красота...

— Егор Евграфович, зачем вы там с той гуляли?..

— Когда потеряешь закон, хочешь фиглярничать. Хочешь издеваться. Над собою!.. Уйди!

— Егор Евграфович...

— Вон уйди! Молчи!

Марфуша стоит неподвижно.

— Уйди, говорят! Дрянь! Уйди!

Марфуша медленно уходит, притворяя за собой низкую дверь.

— Марфа!.. Марфуша!.. Марфушечка!..—и Егор судорожно гладит голову Марфуши дрожащими своими руками с иссохшими длинными (дворянскими) пальцами.

— Нет закона у меня. Но не могу правду забыть. Не могу через себя перейти. Все погибло! А какая правда на землю пришла! Мать хрипит... за всех отвечает! За всех!.. Люблю тебя, попранную чистоту люблю. Помни—люблю. Уйду в музыканты, в совет!

— Егорущка!..

Егор тяжело и хрипло дышит и прижимает судорожно голову Марфуши к костлявой своей груди. Тускло горит моргас.

И снова бьют часы. Ведет ночь ночной своей черед — за домом зачарованный, и здесь мертвый. Пройдет еще один ночной час, и будет утро. Борис, большой, барски-полный и холеный, ленивой походкой человека, бродящего ночами в бессоннице, входит к Глебу.

— Глеб, ты спишь? У меня все спички.

— Пожалуйста.

Борис закуривает. Спичка освещает бритое его, холено-полное лицо, вспыхивает кольцо на мизинце. Борис садится около Глеба, хрусткает под плотным его телом доска кровати, — и сидит, по привычке, выработанной еще в Катковском лицее в Москве, прямо и твердо, не сгибаясь в талии.

— Никак не могу предаться Морфею, — говорит хмуро Борис.

Глеб не отвечает, сидит сгорбившись, положив руки на колени и склонив к ним голову.

Молчат.

— Борис, мне сейчас Егор рассказал о мерзости. Ты сделал мерзость, — говорит Глеб.

— С Марфой наверное? Пустяки! — отвечает Борис медленно, с усмешкой и усталю.

— Это мерзость.

Борис отвечает не сразу и говорит задумчиво, без всегдашней своей презирающей усмешки:

— Конечно, пустяки! Я бóльшую мерзость сделал с самим собою! Понимаешь, — святое потерял! Мы все потеряли.

И Борис, и Глеб молчат. Луна, проходя небесный свой путь, положила лучи на кровать и осветила Бориса зеленоватым, призрачным светом, — тем, при котором воют в тоске собаки. Борис томительно курит.

— Говори, Борис.

— Весной, как-то, стоял я на Орловой горе и смотрел в долины за Вологою. Была весна, Волога разлилась,

небо голубело, — буйничала жизнь — и кругом, и во мне. И я, помню, тогда хотел обнять мир! Я тогда думал, что я — центр, от которого расходятся радиусы, что я — всё. Потом я узнал, что в жизни нет никаких радиусов и центров, что вообще революция, и все лишь пешки в лапах жизни.

Борис молчит минуту, потом говорит злобно:

— И с этим я не могу примириться. Я ненавижу всё и презираю всех! Не могу! Не хочу! Я и тебя презираю, Глеб, с твоей чистотой... Марфуша? Есть любовь. Марфуша и Егор любили? — Натя вам, к чорту! — Россия, революция, купцы сном хоромы накопили, и вот ты *чистый (целомудренный)* уродился, — к чорту!.. Нас стервятниками звали, а знаешь, стервами падаля зовется, с ободранной шкурой! Впрочем, от князей остались купчишки!..

Борис замолкает и тяжело дышит. Глеб молчит. Долго идет молчание.

— Бумеранг. Ты знаешь, что такое бумеранг? — спрашивает тоскливо Борис. — Это такой инструмент, который папуасы бросают от себя, и он опять возвращается к ним. Точно так же и все в жизни, подобно бумерангу... Глеб, мне много отпущено силы, и телесной, и той, что заставляет других подчиняться... и все, мною сделанное, мне возвратится! Я в двадцать пять лет был товарищем прокурора, мне секретные циркуляры присылали, охранять от пугачевщины. Ты кого-нибудь винишь?

— Я не могу винить. Я не могу!..

— А я виню! Все негодяи! Все!

Князь Борис молчит томительно.

— Брат... Если я *не могу*?!.

— Я не знаю, где путь твой. Я тоже потерял веру. Я не знаю...

— Я тоже не знаю.

— Читай Евангелие.

— Читал! Не люблю, — вяло говорит Борис.

Борис устало встает, подходит к окну, смотрит на дальнюю зорю, говорит раздумчиво:

— Были ночи миллион лет тому назад, сегодня ночь, и еще через миллион лет тоже будет ночь. Тебя зовут Глеб, меня—Борис. Борис и Глеб. По народному поверью в день наших именин, второго мая, запевают соловьи!.. Я делал мерзости, я насиловал девушек, вымогал деньги, бил отца. Ты меня винишь, Глеб?

— Я не могу. Я не могу судить,—поспешно отвечает Глеб.—„Мне отмщение, и аз воздам“. Ты сказал о моей чистоте. Да, все ложь...—говорит он. Он подходит к Борису и стоит рядом. Последняя перед утром луна светит на них.—Борис, ты помнишь?—„Мне отмщение, и аз воздам“...

— Помню,—бумеранг. Я не люблю Евангелия.—Борис говорит сумрачно, лицо его хмуро.—Бумеранг!.. Самое страшное, что мне осталось,—это тоска и смерть. Стервятники вымирают. Вот скоро у меня выпадут зубы и сгниют челюсти, провалится нос. Через год меня, красавца-князя, удачника-Бориса,—не будет... А—а в мае соловьи будут петь! Тоскливо, знаешь ли!—Борис низко склоняет голову, сумрачно, исподлобья смотрит на луну, говорит вяло:—Собаки при луне воют... У меня, Глеб, сифилис, ты знаешь...

— Борис! Что ты!?

— Я не знаю только — порок прославленных отцов или... отец молчит.

— Борис!..

Но Борис сразу меняется. Гордо, как красивая лошадь и как учили в лицее, закидывает голову и говорит с усмешкой:

— Э?

— Боря!..

— Самое смешное, когда люди ажитируются. Э?.. Милый мой, младший брат, пора спать! Adieu!

Борис медленно уходит от Глеба. Глеб много меньше Бориса. Он, маленький, стоит в тени. Борис твердо выходит от Глеба, покойно и высоко подняв голову. Но в коридоре никнет его голова, дрябнет походка. Бессильно волочатся большие его ноги.

В своей комнате Борис останавливается у печки, прислоняется плечом к холодным ее изразцам, машинально, по привычке, оставшейся еще от зимы, рукою шарит по изразцам и прижимается — грудью, животом, коленами — к мертвому печному холоду.

А ночь отводит уже ночной свой черед. И алой зарей — благословенное — настанет июньское утро. Глеб думает о себе, о братьях, о богоматери, об Архангеле Варахииле, платье которого должно быть все в цветах — в белых лилиях... Революция пришла белыми метелями и майскими грозами. Живопись, — иконопись, — старые белые церкви со слюдяными оконцами. Если вспыхнула в четырнадцатом году война, —

(у нас в России горели красными пожарами леса и травы, красным диском вставало и опускалось солнце)

— там в Европе рожденная биржами, трестами, колониальной политикой и пр., — если могла народиться в Европе *такая* война, то не осиновый ли кол всей европейской котелковой культуре? — эта Европа повисла в России — вздернутая императором Петром (и тогда замуравались старые белые церкви): — не майская ли гроза революция наша? — и не мартовские ли воды, снесшие коросту двух столетий? — Но ведь нет же никакого бога, и только образ — платье Варахиила в белых лилиях! — Художник Глеб Ордынин приехал сюда на родину, с археологом Баудеком, чтобы производить раскопки.

И первая проснулась в доме мать, княгиня Арина Давыдовна, урожденная Попкова.

В муке рассвета мутные блики ложатся на пол и на потолок. За решетками окон светлый рассвет, а в темной комнате Арины Давыдовны темно, обильно наставлены шкафы, шифоньерки, комоды, две деревянных кровати под пологам. На темных стенах, в круглых рамках — едва можно разобрать — головные висят выцветшие портреты и фотографии. — И за пять минут до того, как проснуться Арине Давыдовне, когда сладко еще храпит княгиня, бесшумно поднимается на своей постели сестрица Елена Ермиловна, урожденная Попкова, крестится одеваясь, причесывает облезшие свои волосы, — и бесшумно скользит по серым рассветным комнатам. Дом спит. Елена Ермиловна смотрит платье в прихожей, неслышно открывает двери к спящим. — А когда кукует кукушка, просыпается Арина Давыдовна, крестясь богатырской рукой. От постели, от княгини, от ног ее идет смрадный запах нечистого жирного человеческого тела.

— Ножки ваши, сестрица, чулочки надеть, — говорит Елена Ермиловна.

— Спасибо, сестрица, — отвечает княгиня басом.

Моется княгиня по-старинному — в тазе. Потом старухи вместе вслух молятся, княгиня со стоном, с трудом трижды опускается на колени, — „Утренняя“, „Царю Небесный“, „Отче наш“, „Ангелу хранителю“, „Богородице“, — за ближних, за дальних, за плавающих и путешествующих. Елена Ермиловна говорит, вдыхая в себя воздух, — и говорит шипящим речитативом.

Марфуша бегаёт по комнатам и говорит всем одно и то же, зауценное:

— Наталья Евграфовна! Вам в больницу пора, самоварик на столе, матушка браняца!

— Антон Николаевич, вам на очередь пора, самоварик на столе, бабушка браняца!

— Ксения Львовна! На базарик вам пора, самоварик на столе, бабушка браняца!

Арина Давыдовна в столовой за дубовым столом режет хлебные порции и пьет чай. Елена Ермиловна бесшумно наполняет десятую чашку.

— Егор Евграфович вернулись ночью, привела их Марфонька, потом заходили они к Глебу Евграфовичу. Пропили они всю свою одежду. Глеб Евграфович им свою отдал... они им отпирали. — Елена Ермиловна говорит пришепetyвая. — Борис Евграфович тоже заходили к Глебу Евграфовичу, а потом к папочке-князю. Папочка молились до утра. Наталия Евграфовна легли спать в двенадцатом часу, после обхода по улице опять шли с большевиком Архипкой Архиповым... Тоня тоже за большевиков стоит, разбили стакан и обозвали меня черным словом...

— Каким? — у Арины Давыдовны тяжело навалены губы одна на другую — и на третью; в глазах ее, некогда карих, теперь желтых, — власть.

— Стерьвой, сестрица.

— Угу!..

— Лидия Евграфовна с дочкою и Катерина Евграфовна вернулись из „Венеции“ половина первого, были с ними Оленька Кунцова. В саду пели романсы.

— Угу... О, господи!..

Как с цепи сорвался, забочал ножищами по дому Антон.

— Марфушка, где моя сумка для хвоста?!

В столовой Антон шумно пьет женую рожь, сопит и свищет, и ноги его, как подрастающий сеттер от блох, елозуют под столом. Елена Ермиловна согбена у самовара.

— Здравствуйте, Тоничка, с добрым утром, — говорит она.

— С добрым утром, — отвечает сумрачно Антон, петушиным басом. — Я нынче пойду в союз молодежи записываться! А вы про что еще наобедничали бабушке?

— И-и-и, и не грех тебе? и не грех на старых людей?

— Знаем! Первейшая ябеда!.. Если бы ты была у нас во второй ступени, мы бы тебе каждый раз морду били бы и темную делали!

— Бурлак! Галах! — вот скажу сестрице...

— Вот и говорю, шпиёнка... Давно уж в чрезвычайку пора! Вот скажу в союзе.

— Да разве я против Советской власти?!

— Знаем!.. — Марфушка!!.. где моя сумка для очереди?!. — и опять по всему дому сорвались всяческие цепи.

В белом платье, чужая, молчаливая, пьет в столовой чай Наталия Евграфовна и уходит в больницу. Трехведерный самовар спел уже свою арию, смолкает, пищит, как муха у паука. Княгиня надевает шляпу-„капот“, и с Марфушей и Ксеной идет на базар с узлами, продавать — те старинные платья, что остались от бабушек, фижмы, роброны, тюньюры, в кружевах крепостного плетения, — ацетиленовый фонарь, подзорную трубу. С ними с базара придут татары в новеньких галошах, и все спустятся в кладовую. В кладовой пахнет крысами и гнильем, стены уставлены ядиками, баулами, чемоданами, висят огромные ржавые весы. Татары будут вскидывать на руке старинные ручной работы шандалы, серебро, фарфор, проеденные молюсками уланские, гусарские, кавалергардские, просто дворянские и сивильные мундиры (князей Ордыниных) и бекеши (купцов Попковых), будут хаять хладнокровно, назначать несурзное и тыкать своими сухими ручками,

чтобы хлопнуть по рукам. Княгиня наткнется на забытую зною, от молодости оставшуюся, безделушку, и будет горько плакать, пряча безделушку, чтобы продать ее в следующий раз. Потом татары поталалакают по-своему, набавят, княгиня сбавит, ударят по рукам (обязательно ударят по рукам!), татары привычно-проворно свернут купленное в кокетливые тючки, заплатят тысячи из пузатых бумажников и поодиночке (обязательно поодиночке!) уйдут задним ходом под гору, блистая на солнце новенькими своими галошами. А княгиня будет плакать в кладовой, вспоминая найденную безделушку и связанное с ней.

В антресолях — из рода в род повелось у Попковых и Ордыниных — девичья часть, дочери тут живут. Низки здесь потолки и светло здесь — белые стены и квадратные оконца открыты. Девушкой в восемнадцать лет вышла Лидия замуж тут же в Ордынине за помещика Полунина, — и ушла от него скоро, сменяв на Москву, на Париж (в Париже и родилась Ксения), встретила и сошлась с кавалергардом, и с ним разошлась, а сейчас же после этого встретила артиста Московского Императорского Большого театра, — и навсегда ушла в богему, — стала учиться петь, и ей удалось пение — к двадцати трем годам она поступила в тот же театр актрисой, где был и новый ее муж. Этого нового мужа она тоже кинула, но сцены не оставила и металась по воле господ бога и антрепренеров до тех пор, пока — — Теперь она у матери. Младшая ее сестра, Наталия, вслед за ней, девушкой поехала в Москву, но свою жизнь сложила иначе: поступила на медицинские курсы к Герье и кончила их: — и у нее была первая глупая любовь, та, что сжигает всяческие корабли, но, если Лидия меняла любовь на любовь, — Наталия решила никогда больше не любить и осталась, чтобы быть лекарем, как написано у нее в дипломе, — и чтобы молчать.

И опять по всем комнатам ходит Марфуша и говорит безразлично:

— Самоварчик на столе, матушка вернулись... Матушка браняца!

А за Марфушей издалека идет Елена Ермиловна, бесшумно и без спроса отворяет двери (и у нее такие происходят разговоры: — „Рисуете, батюшка Глеб Евграфович?“ — „Рисую, Елена Ермиловна“. — „Ну, и рисуйте на здоровье, господь с вами!“ — „Читаю, курю, одеваюсь, иду, сержусь, ложусь спать“, — говорят ей, и она всем отвечает: — „Ну, и читайте, курите, одевайтесь, идите, сердитесь, ложитесь — на здоровье, господь с вами!“). Елена Ермиловна бесшумно просовывает голову в комнату Лидии.

— Одевается, матушка?..

— Елена Ермиловна, сколько раз вам говорить, что это невоспитанно — заглядывать не постучавшись. — Идите! Я не разрешаю вам быть здесь. Идите!..

Елена Ермиловна бесшумно исчезает за дверью.

— Крыса какая-то домовая, — говорит брезгливо Лидия Евграфовна.

Катерина, самая младшая, помогает ей одеваться. Лидия Евграфовна в белой одной кружевной рубашке и в черных чулках, обтягивающих стройные ее ноги до бедер, полулежит в низком кресле. Рубашка съехала с плеча, видны круглые ее плечи и большая, еще красивая грудь с матовыми сосками. Катерина причесывает обильные ее рыжие волосы. У Лидии Евграфовны карие глаза, тонкий горбатый нос, и она хищно-красива. Катерина, полная и вялая, одета в неряшливый капот, но волосы ее — тоже рыжие и обильные — причесаны пышно.

— Аа-а! — берет гамму Лидия, чтобы испробовать голос, и говорит: — Так ты покажись Наталии, или еще с кем-нибудь... Ты когда заметила?

— Да я думаю, месяц, — вяло говорит Катерина.

— Ну, если месяц, можно повременить. Fausse-couche — это очень просто. — Лидия интимно улыбается. — Это ты который раз?

— Второй.

— А кто он?

— Каррик. Военрук. Офицер, но партийный, но не коммунист.

— А тебе сколько лет?

— Девятнадцать, скоро двадцать.

— Однако! Я в твоём возрасте мужа, как чумы, боялась.

— Вон Оля Кунц почти каждый месяц. У нее какая-то повитуха есть... очень дешево. Ты удивляешься, теперь все...

— Нет, обязательно к доктору! Никаких повитух. И вообще аборт нисколько не полезен. Сегодня же ступай к врачу. Аах!.. — Лидия молчит долго, ломает руки и шепчет: — И опять такой длинный день, совсем ненужный, день, как пустыня... Ну да, а я одна, одна! Есть сказка о царевне-лягушке, — зачем, зачем Иван-царевич съел мою лягушечью шкурку?.. Ну, да...

А за открытыми оконцами в парке, над миром идет июнь. Над миром, над городом шел июнь; всегда прекрасный, всегда необыкновенный, в хрустальных его восходах, в росных утрах, в светлых его днях и ночах. В девичьих антресолях низки потолки, белы стены, и жужжат медвяные пчелы в открытых квадратных оконцах. Всякая женщина — неиспитая радость. Впрочем, Наталья... В это утро Наталья сказала матери, что уезжает вон из дома, в больницу. Утром же мать повстречала в коридоре Егора.

— Егор, поди сюда! Говори правду.

Егор медленно подходит к матери, стоит около нее, — руки его опущены, опущена голова, тоскование и стыд в красных его глазах.

— Егор, ты пил вчера? Пьянствовал?

— Да, — тихо отвечает Егор.

— Где деньги взял?

Егор молчит.

— Где деньги взял? Правду говори!

— Я... Я пропил Натальину, Натальино пальто.

Мать коротко размахивается и бьет богатырской своей рукой по дряблой щеке Егора. Егор неподвижен.

— Вот тебе! Пошел вон и не смей от себя выходить! Не смей на музыке играть. Пошел вон! Молчать!

Егор согнувшись уходит. И тогда по комнатам несется свирепый крик Бориса:

— А я вот не хочу молчать! Вам пора помолчать! Надоело! Будет!.. Елена Ермиловна, Еленка! беги к Егору, крыса, и скажи, что я, Глеб, Наталья, — мы протестуем! беги, крыса!.. Мать, купчиха, ты!.. берегись!.. Марфа! водки!.. Мать, полканша, купчиха — пойми твоим медным умом, что все мы с твоими робронами летим к чорту!.. К чорту, к чорту все!.. Аа-ах!.. Егор, иди, сыграй, сыграй Интернационал!

— Молчать, большевик! Я мать, я учу!.. Я кормлю!

— Что-о?! ты кормишь?! краденое кормит, — грабленое!.. Марфа, водки!..

В темной комнате княгини — темно, обильно наставлены шкафы, шифоньерки, комоды, две, под балдахином, кровати. На темных стенах, в круглых рамках головные висят выцветшие портретики и фотографии. Сумрачно опущены на окнах гардины. В золотых очках, княгиня стоит у раскрытого своего секретера, раскрыты пред ней отчет-

ные ее книги: „Провизионная“, „Бой посуды“, „Разсчитать прислуги“, „Бьльевая“, „Одежная“, „Дьтская“.

В „Бой посуды“ княгиня вписывает:

„Тоня разбилъ одинъ стаканъ“.

В „Дьтскую“:

„Наказанъ Егоръ, Наталья сошла сума увъзжать въ больницу жить изъ родительскаго Дома. Богъ ей Судия, въ подарокъ Ксеніи десять ру“.—

В „Бьльевую“ и „Одежную“ княгиня вписывает проданное татарам и на базаре, и сумму ставит на приход в „Приходо-расходную“.

И княгиня плачет. Княгиня плачет, потому что она ничего не понимает, потому что железная ее воля, ее богатство, ее семья — обессилели и рассыпаются, как вода сквозь пальцы.

— Вон в том тюрнюре, что продали сегодня, — говорит она в слезах Елене Ермиловне, — я в первый раз увидела княгиню-мать, когда приезжала невестой. У меня тогда была сирень в волосах, а был январь.

Впрочем, скоро княгиня уже не плачет. Она стоит у секретера с пером в руках, опираясь локтями о свои книги, и рассказывает о давно ушедшем, цепляя одно за другое, родное, свое, давно — и так недавно — прошедшее.

— Был у нас помещик, Камынин, полковник в отставке, охотник, девяти вершков. Приехал в усадьбу и — ни к кому... взял с деревни двух сестер-девок и обеих клал с собой спать, и по целым неделям пьянствовал, а то на неделю в лес на охоту. И ни к кому!.. Священник у нас был, от пьянства заговаривал, очередь к нему, вся паперть в пробках, — значит, перед заклатьем последний раз... Отец Христофор. Отец Христофор поехал к Камынину, уговаривать. Камынин визит отдал — в церковь к обедне приехал, послушал пение, да как заплачет, да как к священнику в алтарь, да татаркой отца Христофора, — в

алтаре!.. И опять к своим девкам. Потом увидел меня на дороге и — сошел с ума, девок-сестер прогнал, остепенился, стал вести знакомство с помещиками, пить бросил, на балы ездил. Мне письма писал... А один раз приехал на бал — в шубе, и в чем мать родила — и потом в молитву опять ушел, а девки опять к нему...

И княгиня, и Елена Ермиловна глубоко вздыхают.

— Всё, сестрица, теперь плошает... всё,—говорит со вздохом Елена Ермиловна.

— Это верно, сестрица. Раньше не так было... раньше...

— Опять же супруг ваш, сестрица, от миру отказались.

— У князей Ордыниных все так. И отец — Ордынин тоже так... Бывало, князь...

— Опять же детки, забота... Вон Антон Николаевич опять меня обругали черным словом.

— Каким?

— Шпиёнкой, сестрица.

И опять по всем комнатам ходит Марфуша и говорит безразлично:

— Уж накрыто на столе... Сейчас первое подам... Мамочка браняца!..

Обильное, знойное солнце идет в большие, закругленные вверху, окна зала, от света пустынным кажется зал. Глеб сдвинул свои эскизы в угол, загородил их ширмой: там, к стене обороченная, стоит его богомать. Глеб сидит за ширмой на окне, тихо в зале, от папиросы идет синий дымок. Тихо отворяется высокая двухстворчатая дверь, и осторожно идет к роялю Егор.

— Глебушка, не могу удержаться. Прости.

— Играй, Егорушка.

Егор опускает модератор, играет что-то свое, тоскливое безмерно и целомудренное.

— Это я, Глебушка, для Натальи сочинил. Про нее... Матушка услышит...

— Играй, играй еще, Егорушка...

— А знаешь, Глеб!.. Знаешь, Глеб!.. Хочется мне на весь мир, без модератора, Интернационал заиграть!.. и — и влести в него потихоньку „Гретхен“, как Петр Верховенский у губернаторши в „Бесах“, — это для матушки!.. и — для Бориса! А-эх!..

Глеб думает об архангеле Варахииле, платье которого в белых лилиях, — и больно вспоминает о матери... В темной комнате матери на стенах висят головные портреты, уже выцветшие и в круглых золоченых рамках; потолки в комнате матери закопченные, в барельефах амуров, и стены в штофных обоях. В комнате матери, перед княгиней-матерью, Глеб опускается на колени, протягивает молитвенно руки и шепчет больно:

— Мама, мама!..

У подъезда звонят, приносят из Москвы телеграмму Лидии Евграфовне:

„Здоровье целую Бриллинг“.

Лидия шлет Марфушу с обратной телеграммой, и из кладовой в мезонин тащат баулы.

Две беседы. Старики.

Знойное небо льет знойное марево. Зноясь на солнце, на пороге у келии черный монашек старо-русские песни мурлычит. В темной келии высоко оконце в бальзаминах, несветлы стены, кувшин с водою и хлеб на столе среди бумаг, — и келия в дальнем углу, у башни, мхом поросшей.

Попик, мохом поросший, сидит у стола на высоком табу- рете, и на низком табулете сидит против него Глеб Евгра- фович. Черный монашек песни мурлычит,—

Э-эх, во субботу, да день ненастный!..

Зноет солнце, пыльные воробьи чирикают. Глеб го- ворит тихо. Лицо попика: просалено замшей, в серых волосиках, глазки смотрят из бороды хитро и остро, из бороды торчит единственный пожелтевший клык, и голый череп, как крышка у гроба. Слушает хитренький попик.

— Величайшие наши мастера,—говорит тихо Глеб,— которые стоят выше да-Винча, Корреджо, Перуджино — это Андрей Рублев, Прокопий Чирин и те безымянные, что разбросаны по Новгородам, Псковам, Суздалям, Коломнам, по нашим монастырям и церквам. И какое у них было искусство, какое мастерство! как они разрешали сложнейшие живописные задачи... Искусство должно быть героическим. Художник, мастер — подвижник. И надо вы- бирать для своих работ величественное и прекрасное. Что величавее Христа и Богоматери?—особенно Богома- тери. Наши старые мастера истолковали образ Богома- тери, как сладчайшую тайну, духовнейшую тайну мате- ринства — вообще материнства. Недаром и по сей день наши русские бабы — все матери — молятся, каются в грехах — Богоматери: она простит, поймет грехи, ради материнства...

— Ты про революцию, сын, про революцию,—говорит попик.— Про народный бунт! Что скажешь?—Видишь, вот хлеб?—есть еще такие, приносят понемножку! А как ду- маешь, через двадцать лет, когда все попы умрут, что станет?.. через двадцать лет!..—и попик усмехается хитро.

— Мне тяжело говорить, владыко... Я много был за границей, и мне было сиротливо там. Люди в котелках, сюртуки, смокинги, фраки, трамваи, автобусы, метро, не-

боскребы, лоск, блеск, отели со всяческими удобствами, с ресторанами, барами, ваннами, с тончайшим бельем,— с ночной женской прислугой, которая приходит совер- шенно открыто удовлетворять неестественные мужские потребности,—и какое социальное неравенство, какое ме- щанство нравов и правил! и каждый рабочий мечтает об акциях, и крестьянин! И все мертво, сплошная механика, техника, комфортабельность. Путь европейской культуры шел к войне, мог создать эту войну, четырнадцатый год. Механическая культура забыла о культуре духа, духовной. И последнее европейское искусство: в живописи — или плакат, или истерика протеста, в литературе — или биржа с сыщиками, или приключения у дикарей. Европейская культура — путь в тупик. Русская государственность два последних века, от Петра, хотела принять эту культуру. Россия томилась в удушьи, сплошь гоголевская. И рево- люция противопоставила Россию Европе. И еще. Сейчас же после первых дней революции Россия бытом, нравом городами — пошла в семнадцатый век. На рубеже семна- дцатого века был Петр...—

(— Пётра, Пётра! — поправляет попик).

...— была русская народная живопись, архитектура, музыка, сказания об Иулиании Лазаревской. Пришел Петр,—и невероятной глыбой стал Ломоносов, с одою о стекле, и исчезло подлинное народное твор- чество...—

(— Эх, во субботу! — в зное снова мурлычит монашек)

—...— в России не было радости, а теперь она есть... Интеллигенция русская не пошла за октябрём. И не могла пойти. С Петра повисла над Россией Европа, а внизу, под конем на дыбах, жил наш народ, как тысячу лет, а интеллигенция — верные дети Петра. Говорят, что родоначальник русской интеллигенции — Радищев. Не-

правда,—Петр. С Радищева интеллигенция стала *каяться*, каяться и искать мать свою, Россию. Каждый интеллигент кается, и каждый болит за народ, и каждый народа не знает. А революции, бунту народному, не нужно было—чужое. Бунт народный—к власти пришли и свою правду творят—подлинно русские, подлинно русскую. И это благо!.. Вся история России мужицкой—история сектантства. Кто победит в этом борении—механическая Европа или сектантская, православная, духовная Россия?..

Зноет солнце. Глеб молчит, и говорит поспешно попик:

— Сектантство? Сектантство, говоришь? А сектантство пошло не от Петра, а с раскола!.. Народный бунт, говоришь?—пугачевщина, разиновщина?—а Степан Тимофеевич был до Петра!.. Россия, говоришь?—а Россия—фикция, мираж, потому что Россия—и Кавказ, и Украина, и Молдавия!.. Великороссия, —Великороссия, говорить надо,—Поочье, Поволжье, Покамье!—ты мне внучек или племянник?—Все спутал, все спутал!.. Знаешь, какие слова пошли: гвиу, гувуз, гау, начэвак, колхоз,—навождение! Все спутал!

Вскоре говорит один попик, архиепископ Сильвестр, бывший князь и кавалергард. Голый череп, как крышка гроба, придвинут к Глебу, и строго смотрят глазки из бороды.

— Как заложилось государство наше Великороссия?—начало истории нашей положено в разгроме Киевской Руси,—от печенегов таясь, от татар, от при и междуусобья княжеских, в лесах, один-на-один с весью и чудью,—в страхе от государственности заложилось государство наше,—от государственности, как от чумы, бежали! Вот! А потом, когда пришла власть, забунтовали, засекутантовали, побежали на Дон, на Украину, на Яик. Не потому ли, не потому ли несла Великороссия татарщину татарскую, а потом немецкую татарщину, что не нужна

она была им, ей в безгосударственности ее, в этнографии?—не нужна!.. Побежали на Дон, на Яик,—а оттуда пошли в бунтах на Москву. И теперь—дошли до Москвы, власть свою взяди, государство строить свое начали,—выстроют. Так выстроют, чтобы друг другу не мешать, не стеснять, как грибы в лесу. Посмотри на историю мужицкую: как тропа лесная—тысячелетие, пустоши, починки, погосты, перелогы—тысячелетие. Государство без государства, но растет как гриб. Ну, а вера будет мужичья. По лесам, по полям, по полянам, тропами, проселками, тогда из Киева побежав, потащились, и—что, думаешь, с собой потащили?—песни, песни свои за собой понесли, обряды, пронесли через тысячелетье, песни ядреные, крепкие, веснянки, обряды, где корова—член семейства, а мерин каурый—брат по несчастью; вместо пасхи девушек на урочищах умыкали, на пригорках в дубравах Егорию, скотьему богу, молились. А православное христианство вместе с царями пришло, с чужой властью и народ от него—в сектантство, в знахари, куда хочешь, как на Дон, на Яик,—от власти. Ну-ка, сыщи, чтобы в сказках про православие было?—лешаи, ведьмы, водяные, никак не господь Саваоф.

И sereneкий попик хитро хихикает, хитро смеется и говорит уже в смехе, с глазами, сощуренными в бороде:

— Видишь, краюху?—носят! Вот! Хи-хи! Ты мне внучек? Никому не говори. Никому. Все в Истории моей сказано. Мощи вскрывали—солома?.. Слушай, вот. Сектанты за веру на костер шли, а православных в государственную церковь за шиворот тащили:—как там хочешь, а веруй по-православному! А теперь пришла мужицкая власть, православие поставлено как любая секта, уравниены в правах! хи-хи-хи!.. Православная секта!.. и-ихи-хи-хи-хи... В секту за шиворот не потащишь!.. Жило православие тысячу лет, а погибнет, а погибнет,—ихи-хи-хи!—

лет в двадцать, в чистую, как попы перемрут. Православная церковь, греко-российская, еще при расколе умерла, как идея. И пойдут по России Егорий гулять, водяные да ведьмы, либо Лев Толстой, а то гляди и Дарвин... По тропам, по лесам, по проселочкам. А говорят—религиозный подъем!.. Видишь, краюха?..—носят те, что на трех китах жили, православные христиане из пудовых свечей,—да носят-то все меньше и меньше. Я вот, православный архипастырь, пешечком хожу, пешечком... их-хи-хи!..

Серенький попик смеется весело и хитро, качает гробом черепа, жмуря в бороде глазки со слезинками. Кирпичные стены келии крепки и темны. На низком табурете сидит Глеб, склоненный и тихий, иконописный. А в углу, в темном кивоте черные лики икон пред лампадами хмуро молчат. И Глеб долго молчит. Зноет знойное солнце, и в зное монашек поет. В келии же сыро, прохладно.

— ... Да эээ!.. нельзя в полюшке работать!..

— Что же такое религия, владыко?

— Идея, культура, — отвечает попик, уже не хихикая.

— А бог?

— Идея. Фикция! — и попик вновь хихикает хитро. — Владыко, преосвященный, говоришь? — из ума выживаю?.. из ума... восьмой десяток!.. не верю!.. Будет, поврала! понабивали мощи соломой!.. Ты—внучек?

— Владыко! — и голос Глеба дрожит больно, и руки Глеба протянуты. — Ведь в вашей речи заменить несколько слов словами—класс, буржуазия, социальное неравенство—и получится большевизм!.. А я хочу чистоты, правды,—бога, веры, справедливости непреложной... Зачем кровь?..

— А, а, без крови?—все кровью родится, все в крови, в красной! И флаг красный! Все спутал, перепутал, не понимаешь!.. Слышишь, как революция воет—как ведьма в метель! слушай:—Гвиуу, гвиуу! шооя, шоооя... гаау. И леший барабанит:—гла-вбум! гла-вбуум!.. А ведьмы

задом-передом подмахивают: — кварт-хоз! кварт-хоз!.. Леший ярится:—нач-эвак! нач-эвак! хму!.. А ветер, а сосны, а снег:—шооя, шоооя, шоооя... хмууу... И ветер:—гвиуууу... Слышишь?

Глеб молчит, больно хрустит пальцами. Хихикает хитро владыко, ерзает на высоком своем табурете,—архиепископ Сильвестр, в миру князь Кирилл Ордынин, сумасшедший старик. Знойное небо льет знойное марево, знойное небо залито голубым и бездонным, цветет день солнцем и зноем,—а вечером будут желтые сумерки, и бьют колокола в соборе:—дон-дон-дон!..

Князь Борис Ордынин стоит у печки, прижавшись к ней большою своей широкой грудью, сыскивая мертвый печной холод. В княжеском кабинете беззубо стоят книжные полки без книг, кои давно уже вывезены в совет, и слезливо, с глазами, выеденными молью, скалится на полки белый медведь у дивана. Маленький круглый столик покрыт салфеткой, и мутно мутнеет кумышка. Князь Борис не пьет рюмками, когда запивает. Борис звонит, медной кочергой от камина тыкая в кнопку. Приходит Марфуша, князь долго молчит и говорит хмуро:

— Налейте стакан и отнесите Егору Евграфовичу...

— Барин!..

— Слышали?! Пусть он выпьет за второе мая... Можете не говорить ему, что это от меня... Н-но пусть он выпьет за второе мая!.. Можете даже вылить, но чтобы я не знал об этом... За второе мая!.. Ступайте.

Князь Борис наливает медленно себе стакан, долго остро смотрит на муть кумышки, потом пьет.

— За второе мая! — говорит он.

Затем опять стоит у печки и опять пьет, молча, медленно, долго. И приходят желтые сумерки, шарящие по

дому. И когда кумышка вся, князь Борис уходит из комнаты, идет медленно, нарочито-уверенными шагами. Дом притих в сумерках, в коридоре горит уже не светлая лампочка, тускло поблескивают мутные зеркала. Мать, княгиня Арина Давыдовна, сидит с Еленой Ермиловной, отдыхает от дневных своих больших дел.

— Второго мая... второго мая, матушка, соловьи начинают петь, после Первомайского трудового праздника, и мы именинники... Ночи тогда синие, синие, холодно-вато-розовые, обильные, буйные... Второго мая, — в пьяную майскую ночь и целомудреннейшую!.. А потом — потом мрак! Ночь!.. — говорит князь Борис.

— Что это такое ты болтаешь? — подозрительно спрашивает мать.

— Еленка, поди вон!.. Я с матерью хочу говорить. О братстве, о равенстве!..

— Это еще что?! — не ходи, сестрица!..
— Как хочешь, мать!.. как хочешь!.. Странно, тебя надо ненавидеть, мадам Попкова, а я ненавижу отца. Addio.

Комната отца похожа на сектантскую моленную. Красный угол и стены в образах, строго смотрит темный Христос из кивота, мутные горят у образов лампы и светлые, высокие восковые свечи, и перед кивотом маленький налейчик со священными книгами. И больше ничего нет в комнате, только у задней стены, около лежанки, скамья, на которой спит отец, князь Евграф. Пахнет кипарисовым маслом здесь, росным ладаном, воском. Сумрак церковный в комнате, спущены плотные гардины у окон — днем и ночью, чтобы не было света, и лишь тоска по нему.

Отец, сжавшись калачиком, подложив иссохшую руку под голову, спит на голой скамье. Князь Борис берет его за плечо, князь-отец еще во сне кротко улыбається и, не видя Бориса, говорит:

— Я во сне разметался, разметался?.. Да?.. Простит Христос!..

Увидав же сына, он спрашивает смущенно:

— Смущать? Смущать опять пришел, Боря?

Князь Борис садится рядом, расставив большие свои ноги и устало упираясь в них руками.

— Нет, папочка. Поговорить хочу.

— Поговори, поговори! Поспрашивай! Простит Христос!

— Вы все молитесь, папочка?

— Молюсь, Боря.

Отец сидит, поджав ноги. Сухо светятся глаза, белые же его волосы, борода, усы — всклокочены. Говорит он тихо и быстро, быстро шевеля впады губами.

— Что же — покой от молитвы?

— Нет, Боря, — кротко и коротко отвечает отец.

— Почему так?

— Правду скажу, правду скажу!.. Простит Христос. Грехи на мне, — грехи... А разве можно о себе просить господя? Стыдно о себе просить! За себя просить — грех, грех, Боря! Я за тебя молюсь, за Егорушку молюсь, за Глебушку молюсь, за Лидию молюсь, за всех, за всех, за мать молюсь, за епископа Сильвестра молюсь... за всех!.. — глаза отца горят сумасшествием, — или, быть может, экстазом? — А мои-то грехи — при мне они! Тут вот, кругом, около! Большие грехи, страшные... И за них молиться нельзя. Грех! Гордость не позволяет! Гордость! А геенна огненная — страшно!.. Страшно, Боря!.. Только постом спасаю себя... Что солнышка красного краше? — не вижу его, не увижу... Прокататься иной раз хочется на троечке по морозцу, попить сладко, иные соблазны, — отказываю! В смерть гляжу. Спасет Христос! — Отец быстро и судорожно крестится. — Спасет Христос!..

— Теперь на тройке по морозцу не поедешь, — лето, — вяло говорит сын.

— Спасет Христос!..

Борис хмуро слушает.

— Позвольте, папочка. Вопросик один. Про-зре-ли? На Поп-ко-вых женились?!

Отец быстро отвечает:

— Прозрел, сынок, прозрел, Боря! Увидел землю по весне, красоту ее безмерную, правду-мудрость Божию почувствовал, и испугал меня грех мой, придавил своей силою, и прозрел, Боря, прозрел!

— Таак,— говорит тяжело Борис, не отводя хмурых своих глаз от отца.—А над землей, пока вы спасаетесь, люди справедливость свою строят, без бога, бога к чертям свинячьим послали, старую ветошку!.. Впрочем, не то!..—Вы, папочка, случайно не знаете, что такое прогрессивный паралич?

Сразу меняется лицо отца, становится трусливым и жалким, и старик откидывает худое свое тело от сына к стенке.

— Опять? опять смущаешь? — говорит он одними губами.—Не знаю...

Сын тяжело поднимается около отца.

— Слушай! Не кривляйся, отец,— слышишь?! Говори!..

— Не знаю я!

— Говори!

Князь Борис большою своей рукой берет кудлатую бороду отца.

— У меня сифилис. У Егора сифилис. Константин, Евграф, Дмитрий, Ольга, Мария, Прасковья, Людмила — умерли детьми, якобы в золотухе. Глеб — выродок, Катерина — выродок, Лидия — выродок, — одна Наталья человек... Говори, старик!..

Отец ежится, судорожно охватывает иссохшими своими руками руку Бориса и плачет, — морщась, всхлипывая, по-детски.

— Не знаю я, не знаю!.. — говорит он злобно.— Уйди, большевик!

— Прикидываешься, святой!

Горят у темных образов тусклые лампы и тонкие, светлые свечи. Ладаном пахнет и кипарисовым маслом. Вскоре князь Борис возвращается к себе, становится к печке, прижимает к мертвому ее печному холоду — грудь, живот, колени, и так стоит неподвижно.

И —

— Развязки. —

В комнате Лидии Евграфовны горят свечи. Баулы раскрыты, на стульях, на креслах, разложено белье, платья, книги без переплетов, саквояжи, ноты. На столе лежит смятая телеграмма, — Лидия берет ее и читает вновь:

„Здоровье целую Бриллинг“.

Губы дергаются больно, телеграмма падает на пол.

— Здоровье. Пью здоровье! Пьет мое здоровье! Старуха, старуха!.. Глеб!..

Звонки. Истерика. Глеба нет. Марфуша бежит за водой.

— Старуха! Старуха! Все ненужно! Пьет здоровье. Здоровье! ха-ха!.. Уйдите, уйдите все! Я одна, одна...

Лидия Евграфовна лежит с полотенцем на голове. Губы Лидии дергаются больно, глаза закрыты. Лидия долго лежит неподвижно, затем берет из саквояжа маленький блестящий шприц, поднимает юбки, расталкивает белье на колени и впрыскивает морфий. Через несколько минут глаза Лидии влажны в наслаждении, и все не перестают судорожно подергиваться губы. Желтые сумерки.

Катерина уходила в город. Почти бегом, с губами, сжатыми в испуге и боли и в боязни разрыдаться, входит

она в комнату Лидии Евграфовны. В ее глазах непонимание и ужас. Лидия лежит с полузакрытыми глазами.

— Что? почему так рано?—в полусне шепчет Лидия.

— У меня... у меня... доктор сказал... наследственный... позорная болезнь!

— Да? Уже?—шепчет безразлично Лидия, глядя безразличными своими полузакрытыми глазами куда-то в потолок.

День цветет зноем и солнцем, и вечером — желтые сумерки. Бьют успокоенно, как в Китеже, колокола в соборе: — дон! дон! дон!.. — точно камень, брошенный в заводь с купавами. И тогда в казармах играют серебряную зорю.

Глеб встретил Наталью около Старого Собора, за парком, — она шла с обхода в больнице, ее провожал Архипов, и Архипов сейчас же ушел.

— Наталья, ты уходишь из дома?—сказал Глеб.

— Да, я уйду.

— Наташа, ведь дом умирает, нельзя так жестоко! Ты одна сильная. Тяжело умирать, Наташа.

— Дом все-равно умрет, он умер. А я должна жить и работать.—Умирать?—и Наталья говорит тихо. — Надо что-то сделать, чтобы умереть. Я курсисткой, девушкой, много мечтала. А вон у того, что шел со мною, застрелился отец, и сын знал, что отец застрелится. Что думали они перед смертью, — они — отец и сын? Сын стался наверное только думать, чтобы не страдать.

— Ты любишь Архипова?

— Нет.

— Как... как девушка?

— Нет. Я никого не люблю. Я не могу любить. Я не девушка. Любить нельзя. Это пошлость и страданье.

— Почему?

— Девушкой, на курсах, я мечтала, ну да, о юноше. Встретила, полюбила, сошлась и должна была родить. Когда он, тот, меня бросил, я была, как бабочка с обожженными крыльями, и я думала — мои песни спеты, все кончено. Но теперь я знаю, что ничего не кончено. Это жизнь. Жизнь не в сентиментальных бирюльках романтизма. Я выйду замуж, должно быть. Я не изменю мужу, — но я не отдам ему души, лишь тело, чтобы иметь ребенка. Это будет неуютно, холодно, но честно. Я слишком много училась, чтобы быть самкой романтического самца. Я хочу ребенка. Если бы была любовь, помутился бы разум.

— А молодость, а поэзия?

— Когда женщина ребенок, — ей и молодость, и поэзия. Очень хорошо — молодость. Но когда женщине сорок лет — у нее нет молодости в силу естественных причин.

— А тебе сколько лет, Наташа?

— Мне двадцать восемь. Мне еще жить. Все, кто жив, должен итти.

— Куда итти?

— В революцию. Эти дни не вернутся еще раз.

— Ты... Ты, Наталья...

— Я большевичка, Глеб! Ты теперь знаешь, Глеб, как и я знаю, что самое ценное — хлеб и сапоги, что ли, — дороже всех теорий, потому что без хлеба и мастерового умрешь ты, и умрут все теории. А хлеб дают мужики. Пусть мужики и мастеровые сами распорядятся своими ценностями.

Вечером около дома Ордыниных пусто. Хмурый, большой, крашенный охрой и сейчас зеленоватый, облупившийся, осевший, — смотрит дом, как злой старичище. Когда Глеб и Наталья стоят на парадном, Глеб говорит:

— Тяжело умирать, Наташа! Ты обратила внимание, у нас в доме потускнели и выцвели зеркала, и их очень много. Мне страшно все время встречать в них свое лицо. Все разбито, все мечты.

И когда идут они по каменной лестнице, мимо железных, за семью замками, дверей кладовых, наверху в доме гудит выстрел: — это стреляется князь Борис. А сейчас же за выстрелом, из залы, по всему дому несется победный Интернационал — и гнусно, пошлейшим мотивчиком, влетает в него „Юберхард унд Кунигунде“.

ГЛАВА Ш. О СВОБОДАХ.

Глазами Андрея.

И опять — та ночь: —

Товарищ Лайтис спросил:

— Где здесь езьт квардира овицера-дворянина-здудента Волковися?

Андрей Волкович безразлично ответил:

— Обойдите дом, там по лестнице во второй этаж! — сказав, позевнул, постоял у калитки лениво, лениво пошел в дом, к парадному входу, —

и —

и —

радость безмерная, свобода! Свобода! Дом, старые дни, старая жизнь, — навсегда позади, — смерть им! Осыпались камни насыпи, полетели вместе с ним под обрыв (шепнул ветер падения: гвиу!..), и рассыпалось все искрами глаз от падения, — и тогда осталось одно: красное сердце. Что-то крикнул дозорный наверху, а потом: костры голодающих, шпалы, обрывок песни голодных и вода Вологи. — Свобода! свобода! Ничго не иметь, от всего отказаться, — быть нищим! — И ночи, и дни, и расветы, и солнце, и зной, и туманы, и грозы, — не знать своего завтра. И дни в зное — как солдатка в сарафане, в тридцать лет, — как те, что жили в лесах, за Ордыни-

ным, к северному небесному закрою: сладко ночами в овине целовать ту солдатку.

Манит земля к себе маями,—в мае, в рассвете, в тумане, девушке — полежать на земле, и уйдешь в землю: притягивает земля. И первый же вечер, когда Андрей пришел на Черные Речки, в Попережье, к нему постучали в оконце девушки и крикнули:

— Андрюша, выходи гулять! Метелицу играть будем!—рассыпались девичьи смешки и прыснули от оконца.

Андрей вышел из избы. В зеленых сумерках, за церковью, на холме, над обрывом, стояли девушки в пестрых платьях и в белых платах, и около них взъерошенными черными силуэтами торчали парни.

— Выходи! не бойся! Метелицу играть будем!

Стала на минуту тишина. Вдалеке кричали коростели. Затем зазвенела разом наборная:

Чи-ви-ли-ви-ли-ви-ли!
Каво хочешь бери!..
Стоит елочка на горочке,
На самой высоте!
Создай, боже, помоложе
По моей, по красоте-э..

Вечер был тихий и ясный, с белыми звездами. Никола, что на Белых-Колодезях,—церковь казалась синей, строгой, черная высокая ее крыша и крест уходили в небо, к белым звездам. Были над рекой и полями тишина и мир. Был смутный, зеленый шум, и все же стояла тишина,—та, которую творит ночь. И всю ночь до хрустальной зари пели девушки. И ночью же пришла гроза, шла с востока, громыхала, светила молниями, дождь прошел грозный, поспешный, нужный для зеленей. Андрей бродил эту ночь по откосам. — Другая жизнь! Быть нищим. Ничего не иметь. От всего отказаться.

Церковь Николы, что на Белых-Колодезях, сложена из белого известняка, стояла на холме, над рекою. Некогда здесь был монастырь, теперь осталась белая церковь, вросшая в землю, поросшая мхом, со слюдяными оконцами, глядящими долу, с острой крышей, покосившейся и почерневшей, — погост Белые-Колодези. С холма был широкий вид на реку, на заречье, на заречные синие еловые леса, на вечный простор. Вокруг погоста росли медноствольные сосны и мох. Из земли, справа от церковных ступенек бил студеный ключ, вделанный в липовую колоду (от него и пошло название Белые-Колодези),—ключ столетиями стекал под откос, пробил в холме промоину, прошел проселок, — с той стороны на откосе под веретием расположилась усадьба князей Ордыниных. За рекою в лесах лежало село Черные Речки. Одинокó высилась лысая гора Увек. И кругом леса, леса к северному закрою, и степи, степи — к южному.

В тот вечер, когда пришел Андрей, он не застал Егорки. В избе пахло травами, и хлеба и меда — первого меда — подала ему Арина. Тогда пели уже петухи, и Арина, красавица, ушла в лес, в ночь.

— Манит маями земля к себе,—в мае, в рассвете, в тумане. Пахнут майские травы сладостными медами, в мае ночами горько пахнет березой и черемухами, ночи майские глубоки, пьяны, и рассветы в мае багряны, как кровь и огонь. Арина родилась у деда Егорки маем, и были: май, небо, сосны, займище и река. Вместе с матерью и Егоркой собирала она травы, и от них Арина узнала, что, как буйничает маями земля, соловьями, кукушками, в ночи,—буйна в человеке кровь, как май, месяц цветения. Знахарья порода живет по своим за-

конам,—у Арины, должно быть, был май—без попа, без ладана, под ладан черемух и под отпевание соловьиное. Кто не знает, как тоскует кровь молодая, одинокая, в молодом своем теле, ночами, маями, в майские цветоносные ночи?.. Не потому ли стали слова Арины дерзки и откровенны по-бабьи,—знахарка? Из Арины-девушки—стала женщина, красивая, крепкая, румяная, широкая, с черными глазами, глядящими дерзко,—дерзкая, свсвольная, вольная, молодая знахарка! Революция пришла в Черные Речки, маем—манит маями земля!—Арина встретила Бунт, как знахарь Егорка.

Дед знахарь Егорка ловил рыбу, когда пришел Андрей, и Андрей ходил к нему. Вода была быстрая, свободная, мутная, шелестела, точно дышала. И всю ночь были болотно-зеленые сумерки с белой конницей облаков. Стояла у суводи, нитку держал кривой Егорка, в белой копне волос и в белых портах, вода кружилась воронками, шипела, шалые щуки били сеть сильно,—Андрей ловил их на лету, холодных и склизких, блестящих в мути ночной голубиным крылом.

— Домекни-ка,—Егорка сказал шопотом.—Когда пошла эта крига? Думаешь, теперь выдумали? Как?

— Не знаю.

— А я думаю, ей и прадеды наши ловили. Как?.. Когда Николу ставили,—пятьсот лет тому,—уже тогда крига была... Тут допрежь монастырь был, разбойник его поставил, Реденя,—ну вот, говорю, монастырь этот сколько раз калмыки, татары, киргизы брали. За это меня из большевиков прямо в кутузку.

— За что?

— Ходила Россия под татарами—была татарская ига. Ходила Россия под немцами—была немецкая ига. Россия сама себе умная. Немец—он умный, да ум-то у него дурак,—про ватеры припасен. Говорю на собрании: нет никакого интернационала, а есть народная русская революция, бунт, и больше ничего. По образу Степана Тимофеевича.—„А Карла Марксов?“—спрашивают.—Немец, говорю, а стало быть дурак.—„А Ленин?“—Ленин, говорю, из мужиков, большевик, а вы должно коммунисты. Должны, говорю, трезвонить от освобождения ига! Мужикам землю! Купцов—вон! Помещиков—вон, шкурники! Учредилку—вон, а надо совет на всю землю, чтобы все приходили, кто хочет, и под небом решали. Чай—вон, кофий—вон,—брага. Чтобы была вера и правда. Столица—Москва. Верь во что хошь, хоть в чурбана. А коммунистов—тоже вон!—большевики, говорю, сами обойдутся. Ну, меня за дисциплину—прямым манером в кутузку.

Плеснулась в черной воде щука и ушла, испугавшись голоса громкого Егорки.

— Эк расшумелся,—сказал шопотом Егорка.—Вот Шак... Шекспирова, что ли?—Гамлета ты читал, а нашу метелицу, как девки играют, не знаешь. Или, положим—„Во субботу день ненастный“... Знаешь? Как?

— Нет, не знаю...

— То-то! Поди, тоже коммунист!

И в это время на холме девушки запели сборную:

Отставала бела лебедь от стада лебединого,
Приставала бела лебедь ко стаду, ко серым гусям!..

Потому что сегодня врывалось властно, потому что в буйной стихии человеческой был он листком,—оторвавшийся от времени,—пришел Андрей к мысли об иной

свободе,—свободе изнутри, не извне: отказаться от вещей, от времени, ничего не иметь, не желать, не жалеть, быть нищим, — только жить, чтобы видеть, с картошкой ли, с кислой капустой, в избе ли, свободным ли, связанным ли,—безразлично: пусть стихии взвихрят и забросят, всегда останется душа свежей и тихой, чтобы видеть. По земле ходили черная оспа и голодный тиф. Утрами к Николе приносили покойников, иногда за полднями, к четырем часам, приходили крестить младенцев, и тогда звонили колокола, слышанные еще татарами. И каждый вечер пели у Николы девушки. Шел июнь.

А в деревне Черные Речки жили мужики,—и не родня, но Кононовы. С весны и по осень работали изо всех жил, от зари до зари, от стара до мала, обгорая от солнца и пота. И с осени до весны тоже работали, сгорая от дыма, как курные избы, мерзнув, недоедая. Жили трудно, сурово — и любили свою жизнь крепко, с ее дымом, холодом и зноем, немоготою. Жили с лесом, с полем, с небом, — жить надо было в дружбе с ними, но и бороться упорно. Помнить надо было ночи, зори и пометы, поглядывать в гнилой угол, следить за сиверкой, слушать шум лесной и гогот. Старший в деревне — дед Кононов, Ионов-Кривой, и он уже не помнит, как звали его деда, но старобытные времена знает, помнит, как жили пращуры и прадеды, и как надо жить. И избы стали задами к лесу, над рекою, смотрят из-под сосен корявыми своими мордами хмуро, тусклые оконца — глаза — глядят по-волчьи, слезятся. Серые бревна легли, как морщины. Рыжая солома — волосы в скобку — упали до земли. Смотрят избы, как тысячи лет.

— А в усадьбе у князей Ордыниных, еще по весне, бели анархисты. — Это — глазами Андрея Волковича. —

В апрельскую ночь в княжий дом (пусть застужкой повести будет рассказ о том, как ушли из усадьбы князя) неожиданно пришли, неизвестно откуда анархисты, размещались ночью, возили воза с пулеметами, винтовками и припасами, и уже утром веял над фронтоном флаг:—

— Да веет черное знамя свободных!

Проходил апрель, прошел май, отцветали черемуха, сирени, ландыши, отпели в зарослях, под усадьбою, соловьи. Анархисты, что приехали ночью, неожиданно, негаданно, на второе же утро, в синих рабочих блузах и кеппи, выехали в поле пахать.—Андрей пришел на Черные Речки к Иванову дню. И к Ивановой ночи Андрей ушел в коммуны — жить. Проходили русальные недели, женщины из коммуны уходили на откос к Николе петь песни, и пришла Иванова ночь. В Иванову ночь жгли костры. Была белая ведьмовская ночь, жгли костры в тумане у реки, водили хороводы, прыгали через огонь. Аганька, товарищ Аганька, скакала усердно, усердно пела, схватила за руку Андрея, устремилась с ним во мрак, к займищам, остановилась, держась за руку, сказала быстро ему, незнакомому:

— Сердце болит, танбовская я. Дочка у меня там осталась. В прислугах ходила, вольной жисти захотела. Сердце моя болит. Что-то дочка-т-ка? — опять стремительно бросилась в огонь, к Павленке.

И в ту же ночь впервые говорил Андрей с Анной. Тридцать лет, — тридцать лет Анны ушло, навсегда, кануло, и были в Анне прозрачность и трогательность: — те, что у осени в золотой листопад и в атласные звездопадные ночи. Андрей уходил в ночное. Перед рассветом (белая проходила туманная, ворожейная Иванова ночь) — на лугу Андрей встретил Анну, она шла одна, в белом тумане, в белом платье. Андрей подошел и заговорил:

— Лошади едят покойно. Сыро, — овода не мешают. Идемте, я вас перевезу на лодке. Какой туман! Иногда хочется итти, — итти, итти, — в туман!

Андрей очень много говорил с Анной в матовый тот рассвет. У Анны был муж, инженер на заводе, все, что надо было изжить — там, в городе, с мужем, было изжито, отжито, ненужно. И Андрей знал, что в тот июньский рассвет Анна плакала. Надо жить. Муж никогда не поймет, что есть Россия с ее Смутным временем, разиновщиной и пугачевщиной, с Семнадцатым годом, со старыми церквями, иконами, былинами, обрядами, с Иулианией Лазаревской и Андреем Рублевым, с ее лесами и степями, болотами и реками, водяными и лешими. Никогда не поймет свободы от всего, — ничего не иметь, от всего отказаться, как Андрей, не иметь своего белья. Пусть в России перестанут ходить поезда, — разве нет красоты в лучине, голоде, болячках? надо научиться смотреть на все и на себя — извне, только смотреть, никому не принадлежать. Итти, итти, изжить радость, страданья.

Шел сенокос, страда. Ночей почти не было, ночами казалось, что нет неба над речными поемами, полями, суходолами и лесами — и над Увеком. Когда Андрей пришел впервые в коммуноу, его окликнули:

— Кто идет?!

И дед Егорка ответил паролем:

— Гайда!

Дорога от ворот со львами, под холмом, пролегалала около каменного забора с вазами на столбах. По косо-гору шли каменистые тропки к огороду, на луг и к реке. За купами деревьев, за зеленым плацом, за конным двором, стоял хмурый дом классической архитектуры, по бокам тянулись службы и флигеля. На крыльце из-за колонн, смотрел тупорылый пулемет, максим. На дворе

никого не было. Тропинкой обогнули дом, зарослями миндаля и сирени прошли на террасу. В столовой, за длинными столами сидели анархисты, кончали ужин. Дед Егорка покривлялся и ушел. Пригнали коров, женщины пошли доить. Павленко ушел в ночное. Был уже поздний час, но небо было еще зелено, по лугу пополз туман. Многие ушли спать, чтобы встать завтра на заре. Андрей сидел с товарищем Юзиком в кабинете, со свечей, стены блестя золочеными корками книг. Товарищ Юзик стоял у окна и смотрел в небо.

— Какая здесь тихая весна, — сказал Юзик. — И какие тихие у вас звезды, — кажется, они густят. Вы никогда не увлекались астронавтикой? — Когда думаешь о звездах, начинаешь чувствовать, что мы ничтожны. Земля — это миговая тюгма: — что же мы, люди? Что значит наша геволуция и неспгаведливость?

Андрей откликнулся поспешно:

— Да, да! Я тоже так думаю! Надо быть свободным и отказаться от всего. Удивительно совпали наши мысли.

— Да, конечно же!.. — Юзик помолчал. — Нигде нет таких звезд, как в Индийском океане — Южный Кгест.. Я исколесил весь миг, и нигде нет такой стганы, как Госсия. Мы приехали сюда, чтобы жить на земле, чтобы делать жизнь... Как хогошо здесь, и какие книги в этих шкафах, книги собигались два столетия!.. С точки згения евгопейцев мы, гусские, пегеживаем сгедневековье...

Вошли Павленко, Свирид, Наталья, Ирина, Аганька. Аганька принесла жбан молока и овсяных лепешек.

— Кто хочет?

В гостиной сиротливо горела свеча, в тщательном порядке стояла золоченая мебель стилиа амфир, за аркой был совершенно пустой зал. Окна гостиной и кабинета были открыты. Под откосом на лугу на разные голоса

кричали, шумели и пели птицы и насекомые, точно в опере перед увертюрой, когда настраивается оркестр. Ирина взяла лениво несколько аккордов на рояли, и Аганька приготовилась плясать. Вошел Семен Иванович, с боро-дою, как у Маркса, — с кипкою газет и заговорил желчно о разрухе. — В тот вечер Андрей возвращался к Николае и, стоя у Николы, еще раз пережил остро, больно и нежно всю ту радость, его радость, что творилась у него мечтой, революцией — мечтой о правде нищенства, о справедливости, о красоте — старых пятнадцатых церквей.

У анархистов Андрей поднимался с зарей, — летней, безмерно ясной, — и с бочкой на паре в дышлах мчал на реку за водой; ему помогала качать насос Аганька. Накачав и напоив лошадей, они, разделенные кустом, купались. И Андрей увозил воду сначала на огород и в парк, затем на кухню. Солнце поднималось красное и медленное, одежда мокла медвяной росой, из займищ уходили последние клочья тумана. В двенадцать шабашили до трех, мужчины поднимали пар, собирались к обеду, бронзовые от солнца, потные от труда, с расстегнутыми воротами. Никогда раньше Андрей не работал мышцами, — сладко ныли плечи, поясница и бедра, голова была легкой, мысли — ясны и тихи. Тихие и ясные приходили вечера, Андрею хотелось спать, ныли плечи, и — в бессоннице — мир казался прозрачным, хрустальным и хрупким, как июньские восходы. Всегда вечерами гуляла с Андреем товарищ Наташа, плела венки себе и ему, и, смеясь, говорила Андрею — о том, что он такой же тихий, как василек. Вечерами привозили газеты, газетчики писали о том, что социалистическое отечество в опасности, бунтовали казаки, украинцы, поляки, — и это казалось неважным, — кто разрушит стеклянную заводь бессонницы? Мысли были ясны и легки, преломленные через хрупкую жажду сна. И июнь

с фарфоровыми жасминами, с хрустальными его восходами, — прошел уже.

Днем работал Андрей в парке с Аганькой — и любовался ею. Она всегда была с песнями и присказками, он не видал ее усталой и не знал, когда она спит. Невысокая, коренастая, босая, с смеющейся рожей, она будила его зорями, прыская водой, уже подоивши коров. Как лягушка плавала она, бесстыдная, купаясь, и потом весь день ворочала — в парке, на картошке, в огороде. Вечерами она „охмурялась“ — сначала с Павленком, затем с Свиридом, — „эх, — кому какое дело, с кем я ночку просидела!“ В сенокос Андрей с Аганькой вдвоем ворошили в саду, Андрей останавливался покурить, Аганька играла граблями, бедрами, точно молодая лошадь, говорила озорно:

— Ты, Андрюша, не охмуряйся, а работай!

— Откуда ты, Аганька? Когда ты спишь, отдыхаешь?

— Откуда все: — от мамки!

— Не дури!

— Где уж нам уж, мы уж так уж!.. Ты вороши, не охмуряйся!..

И Аганька умерла в июле — по земле ходили черная оспа и тиф... — Смерть, смута, голод, лучина: — видеть, чтобы жить. Первые дни июля, перед зноем, пять дней шли дожди и грозы, анархисты были в доме, — и никогда у Андрея не было столько радости, радости бытия!

— Это глазами Андрея, поэзия Андрея Волковича.

Глазами Натальи.

Над Николой, над Черными Речками, над полями, высился одиноко холм, пустынный, лысый, по обрывам

лишь поросший калиною, стоял одиноко, пустынный, высокий. К северному от него краю небесному щетинились темными пилками леса, и к югу шли степи. И века сохранили за ним свое имя—Увек. И шел июль.

На вершине Увека люди заметили развалины и курганы,—археолог Баудек и художник Ордынин с артелью мужиков пришли их раскапывать. Раскопки длились третью неделю, и из земли выходили века. На Увеке нашли остатки древнего города, шли уступами каменные развалины водоподъемников, фундаменты строений, канализация,—скрытое суглинками и черноземом это осталось не от финнов, не от скифов, не от болгар,—кто-то неведомый приходил сюда из Азиатских степей, чтобы поставить город и исчезнуть из истории—навсегда. А за ними, за теми неведомыми, были здесь скифы, и они оставили свои курганы. В курганах, в каменных склепах, в каменных гробницах, лежали человеческие костяки, в одеждах, рассыпающихся от прикосновения, как пепел, с кувшинами и блюдами, украшенными наездниками и охотниками, где некогда были пища и питье,—с костями коня у ног, с седлом, отделанным золотом, костью и камнями, и кожа у которого стала, как мумия. В каменных склепах было мертво, ничем уже не пахло, и каждый раз, когда надо было входить в них, мысли становились четкими и покойными, и в душу приходила скорбь. Вершина Увека, в камнях, облысела, серебряной пыльной щетиной поросла полынь, пахла горько.—Века.—Века учат так же, как звезды, и Баудек знал радость горечи. Понятия археолога Баудека спутались веками. Вещь всегда говорит больше не о жизни, но об искусстве, и быт—есть уже искусство. Жизнь мерил Баудек художеством, как и всякий художник. И—от веков и революции Баудек и Глеб Ордынин хотели следить за теми сектантами, что жили хуторами в степи. И горько пахло над Увеком полынью.

Здесь на Увеке землекопы просыпались с зарей, кипятили в котле воду. Копали. В полдни привозили из коммуны обед. Отдыхали. Снова копали, до вечерней зори. Тогда жгли костры и сидели около них, толкуя, пели песни... За рекой в деревне—пахали, косили, ели, пили и спали, чтобы жить,—так же, как и под обрывом в коммуне и в степи у сектантов, где тоже трудились, ели и спали. И еще, кроме того, все испивали и хотели испить покой и радость. Шел знойный июль, испепеляя дни; как всегда, дни были прозрачны и томительны,—ночи приносили покой и свою ночную смуту.—Одни раскапывали землю, сухой суглинок, промешанный кремнями и чортовыми пальцами, другие отвозили ее на тачках, просеивали в решетках. Дорылись до каменного входа. Склеп был темен, ничем не пахло. Гробница стояла на возвышении. Зажгли фонарики. Зарисовали. Осветили магнием—сфотографировали. Было тихо и безмолвно. Сняли десятипудовую позеленевшую крышку. Другие у обрыва на веретии окапывали остатки круглого некоего сооружения, камни которого не засорило еще время.

Круто падал Увек. Под Увеком пустынным простором шли пологи, за поемами зубчатой щетиной поднимались леса Чернореченские, Черноречье: и Баудеку рассказывали россказню о том, что в Медыни засели дезертиры, зеленая разбойная армия, накопавшая землянок, наставившая шалашей, рассыпавшая по кустам своих дозорных, с пулеметами, винтовками, готовая, если тиснут ее, уйти в степь, взбунтоваться, пойти на города.

— Впрочем, это глазами анархистки Натальи.

Поздно вечером, возвращаясь из займищ, Наталья и Баудек поднялись на лысую вершину к раскопкам. Запахло горько полынью, полынь обросла холм серебряной

пыльной щетиной, пахло горько и сухо. С пустынной вершины было видно широко кругом, под холмом текла река, за рекою в тумане светились костры последних сенокосов и ночных. Из поля повеяло сухью. Остановились, чтобы проститься,—и заметили:—от балки к раскопкам, с той стороны, от Николы, бежали гуськом, широко, неспешной побегой, голые женщины, с распущенными косами, с черными впадинами лобков, с метелками ковыля в руках. Женщины безмолвно добежали до раскопок, обежали круглую развалину на веретии и повернули к обрыву, к балке, поднимая пыльную пыль.

Заговорил Баудек:

— Где-то Европа, Маркс, научный социализм, а здесь сохранилось поверье, которому тысяча лет. Девушки обегают свою землю, заговаривают своим телом и чистотой. Это неделя Петра-Солнцеворота. Кто придумает—Петра-Солнцеворота!? Это прекраснее раскопок! Сейчас полночь. Быть может, это они заговаривают нас. Это тайна девушек.

Опять из поля повеяло сухью. В безмерном небе упала звезда,—приходил уже июльский звездопад. Кузнечики звенели сухо и душно. Пахло горько полынью.

Простились. Прощаясь, Баудек задержал руку Натальи, сказал глухо:

— Наталья, необыкновенная, когда вы будете моей женой?

Наталья ответила не сразу, тихо:

— Оставьте, Флор.

Баудек пошел к палаткам. Наталья вернулась к обрыву узкой тропинкой, заросшей калиной, спустилась в усадьбу в коммуны. Ночь не могла утолить жажду жаркого дня, в ночи было много жажды и зноя, сухо блестя потускневшим серебром—трава, дали, полон и воздух. По кремнистой тропинке сыпались камешки.

У конного двора лежал Свирид, напевал, глядя в небо:

Кама, Кама мать ри-ка-а!..

Бей па-а рожи Калча-ка-а!

Кама, Кама водяни-ста!

Бей па-а рожи камму-ниста!..

Заметил Наталью, сказал:

— Ночь теперь, товарищ Наталья, нет возможности уснуть, влюботу бы сыграть! Все коммунисты в растениях. К копателям ходили?—говорят, город выкапывают,— время теперь такое, до всего докапываются! Да!

И снова запел:

Кама, Кама, мать ри-ка-а!..

— Газеты со станции привезли. Очень здесь полыньей пахнет. Страна!

Наталья прошла в читальню, зажгла свечу, тусклый свет масляно отразился в пожелтевших мраморных колоннах. По-старинному стояли шкафы с книгами, золоченые кресла, круглый стол посреди, в газетах. Склонила голову, упали тяжелые косы,—читала газеты. И газеты из губернии на коричневой бумаге, и газеты из Москвы на синей бумаге из опилок,—были наполнены горечью и смятением. Не было хлеба. Не было железа. Были голод, смерть, ложь, жуть и ужас,—шел девятнадцатый год.

Вошел Семен Иванович, старый революционер, с бородою как у Маркса, опустился в кресло, непокойно закурил собачку.

— Наталья.

— Да.

— Я был в городе. Вы представляете, что творится? Ничего нет. Зимой все умрут от голода и замерзнут. Нет какой-то соли, без которой нельзя варить сталь, без

стали нельзя делать пил, нечем пилить дрова,—зимой дома замерзнут,—от какой-то соли! Жутко! Вы чувствуете, какая жуть!—какая жуткая, глухая тишина. Взгляните—естественнее смерть, чем рождение, чем жизнь. Кругом смерть, голод, цынга, тиф, оспа, холера... Леса и овраги кишат разбойниками. Вы слышите — мертвая тишина! Смерть. В степи есть села, которые вымерли до тла. Мертвецов никто не хоронит, и среди мрака ночами копошатся собаки и дезертиры... Русский народ!

В комнате Натальи, в мезонине, в углу стояло распятие с пучком трав, заткнутым за него—это осталось еще от бар. Зеркало на пузатом туалете красного дерева, со старинными нужными безделушками пожухнуло и поупилось. Ящик от туалета был раскрыт: оттуда еще пахло по-помещицьи воском, и на дне валялись пестрые шелковые лоскутики,—эта комната у Ордыниных была девичьей. Лежали коврики и дорожки. За окнами широко было видно поемы, реку,—подумалось, что зимой весь этот пустой простор бел от снегов. Наталья стояла у окна долго, переплетала волосы, скинула сарафан. Думала—об археологе Баудеке, о Семене Ивановиче, о себе,—о революции,—о ее горечи—своей горечи.

Первыми о рассвете сказали стрижи, летали в желтом сухом мраке, щебеча. Пролетала последняя летучая мышь. На рассвете пришла Ирина. Села молча на окно. С рассветом горько запахло полынью,—и Наталья поняла: полынью, горьким ее сказочным запахом, запахом живой и и мертвой воды пахнут не только сухоходольные июли,—пахнут все наши дни, тысяча девятьсот девятнадцатый год. Горечь полыни—дней наших горечь. Но полынью же бабы из изб изгоняют чертей и нечисть.—Русский народ,—вспомнила. В апреле, когда шли за белыми, на маленькой степной станцийке, где были небо, степь, пять тополей, рельсы

и станционная изба, заметила троих,—двух мужиков и ребенка. Все трое были в лаптях, старик в полушубке, а девочка полуголая. У всех были носы, верно говорящие, что в их крови есть и чуваш, и татарин. У всех троих были испытаны лица. Меркнул широкий закат. Лицо старика походило на избу, как соломенная крыша падали волосы, подслеповатые глаза смотрели на запад, как тысячи лет. И в этих глазах было безмерное безразличие,—или, быть может, мудрость веков, которую нельзя понять. Наталья тогда думала: вот — подлинный русский народ, эти вот испытанные, серые, проеденные грязью и потом, с лицом жутким, как изба, с волосами, как соломенная крыша. Старик глядел на запад; другой сидел неподвижно, подогнув ногу и положив на нее голову. Девочка спала, разметавшись по асфальту, захарканному и заплеванному подсолнечной шелухой. Молчали. И смотреть на них было томительно и жутко,—на тех, которыми и именем которых творится революция. Народ без истории,—ибо где история русского народа?—народ, создавший свои песни, свои напевы, свои сказки... Потом эти мужики случайно зашли в коммуны, пели как калики, кланялись, просили милостыню, рассказывали, что они „володимирски“, пригнал их голод, ходят ради Христа: дома оставили заколоченные избы, съели все, даже лошадей. И Наталья заметила: с них падали вши. Та же станцийка, где встретила она их впервые, называлась „Разъезд Мар“.

На дворе зашумели ведрами, женщины пошли доить. Пригнали из ночного лошадей. Семен Иванович, не спавший ночи, подмазывал со Свиридой телегу, собирался в поемы за сеном. Шумели подросшие уже цыплята. Пришел день, жаром своим испепяющий уже землю, когда надо было испытать его жажду, чтобы вечером итти за иной полынью, полынью Баудека, за горечью радо-

сти, ибо никогда не было у Натальи этой радости полынью, и принесли ее эти дни, когда надо жить—сейчас или никогда.

Солнце проходило знойное свое солнцепутье, томил день зноем, звоном тишины, дрожали дали мелкою знойной дрожью как расплавленное стекло. В заполненный уповод, в отдых, приходила Наталья на раскопки, сидела с Баудеком под солнцем, среди развороченной земли, на опрокинутой тачке. Жгло солнце, и на тачках, на черноземе, на камнях, на палатках, на траве лежали знойные краски, точно пестрые шелковые лоскутья.

Наталья говорила о зное, о революции, о днях: всюю кровью своею почуяла, приняла революцию, хотела творить ее,—и теперешние дни принесли полынь, дни теперешние пахнут полынью,—говорила как Семен Иванович. И еще, потому что Баудек положил голову к ней на колени, потому что ворот вышитой его рубахи был растегнут, открывал шею, и был зной,—чуяла иную полынь, о которой молчала. И опять говорила как Семен Иванович.

Баудек лежал на спине, полузакрыв серые свои глаза, держал Натальину руку и, когда она замолчала в зное, заговорил:

— Россия. Революция. Да. Пахнет полынью—живой и мертвою водою?—Да!.. Все гаснет? нет путей? Да... вспомните русскую сказку о живой и мертвой воде. Дурачок-Иванушка совсем погиб, у него ничего не осталось, ему нельзя было даже умереть. Дурачок-Иванушка победил, потому что с ним была правда, правда кривду борет, вся кривда погибнет. Все сказки заплетаются горем, страхом и кривдой—и расплетаются правдой. Посмотрите кругом—в России сейчас сказка. Сказки творит народ.

Революцию творит народ; революция началась как сказка. Разве не сказочен голод, и не сказочна смерть? Разве не сказочно умирают города, уходя в семнадцатый век, и не сказочно возрождаются заводы? Посмотрите кругом—сказка. Пахнет полынью—потому что сказка. И у нас, вот у нас двоих,—тоже сказка, ваши руки пахнут полынью!

Баудек положил Натальину руку на глаза, поцеловал тихо ладонь. Наталья сидела склонившись, упали косы,—опять почуяла остро, что революция для нее связана с радостью, радостью буйной, с той, где скорбь идет рядом, полынняя скорбь. Сказка. Как в сказке Увек, как в сказке заречье, как в сказке Семен Иванович, с бороною Маркса, водяного-Маркса, злого как Кащей. Тачки, палатки, земля. Увек, река, дали—блестели, горели, светились знойными лоскутьями. Было кругом огненно, пустынно и безмолвно. Солнце на своем пути шло к трем, понемногу выползали из-под тачек, из ям землекопы, одетые, как послал Бог, в рваные порты, штаны из мешков, прикрытые рогожей, зевали, хмурились, пили из ведерок воду, свертывали цыгарки.

Один сел против Баудека, закурил, почесал открытую свою волосатую грудь, сказал не спеша:

— Айда начинать, Флорыч!.. Лошадь бы заложить. Михайло, надо полагать, в сыпе свалился...

К вечеру затрещали кузнечики. Наталья была на огородах, носила ведра, поливала гряды, капельками на лбу выступил пот, и тело, напрягаясь под тяжестью ведра, ныло сладко, неизбытою крепостью. Капли воды брызгались на босые ноги, и прохлада несла отдых. К вечеру в вишняке кричала горихвостка. Летали лениво в золотом воздухе последние пчелы, направляясь к пасеке. Ходила в вишняк, ела рдяные вишни с соком как кровь. В кустах росли голубые колокольчики и медвяница,—рвала по при-

вычке снопы букетов. У себя, в мезонине, в девичьей комнате разбирала в туалетном ящике старые шелковые лоскутья, вдыхала запах шелка, воска и кислых старинных духов. Комнату свою увидела новыми глазами: в комнате был зеленый сумрак, и по полу шли легкие дрожащие тени, белые стены принимали в старческое свое упокоение легко и просто. Стояла над тазом, плескалась холодной водой.

Солнце уходило широким желтым закатом.

Знойный день отцвел желтыми сумерками. В семь бил колокол к ужину, и в буфетной на полчаса было шумно, толпились около котла с кашей, лили из ведерок в тарелки молоко, затем пили чай, разнося стаканы по всем комнатам. На террасе, заросшей миндалями и туями, был гость, сектант—братец с соседнего хутора Донат, с апостольской бородой, во всем белом и в пудовых сапогах с подковами: заезжал поговорить о лошадях. От чая братец Донат отказался, выпил молока. На террасе с ним сидел Семен Иванович. Небо умирало огненными развалинами облаков. В зарослях у террасы одиноко и горько свистела горихвостка:—ви-ти, ви-ти-тсс!..

Семен Иванович, в блузе, тоже старик, по-молодому поместился на барьере, скрестив руки и прислонив голову к колонне. Донат сидел у стола, покойно, прямо, положив ногу на ногу.

— Войны вы не признаете?—спросил Семен Иванович, как всегда сухо и неуловимо-зло.

— Война нам не нужна-с.

— А у вас на хуторах, мне говорили, нашли зарезанного черемиса, и, говорят, вы покрываете конокрадов?

— Не знаю, о каких случаях вы говорить изволите,—ответил покойно Донат.—По степи много волков ходит, не остерегаться нельзя. Мы в эти места при Екатерине

пришли, и живем как тридцать лет тому жили, и как сто, сами справляемся, своим обыком. Посему нам никаких правлений и не надо, а стало быть и войнов. Петербург-с это вроде лишая-с. Смею думать, народ сам лучше проживет без опеки, найдет время и отдохнуть, и размыслить. Скопом народ-с, может, тысячу лет живет.

— Ну, а конокрадство?—перебивая Доната, едва приметно раздражаясь, спросил Семен Иванович.

— Не знаю, о каких случаях говорите. Никто этого не видел. Одначе думаю, если конокрада уловят—убьют. И убьют, я полагаю, с жестокостью-с. Татары иной раз ловят конокрадов,—связанных в стога закапывают и палят живьем. Жизнь у нас жестокая-с, сударь.

Огненные развалины меркли точно угли, покрылись пеплом. На дворе замекали овцы, и щелкал бич. Горихвостка стихла. В гостиной зажгли свечу, в открытую дверь потянули бабочки. Затрещали кузнечики. Повеял ветер и принес не зной, а отдых. Темнело быстро, и вдалеке полыхнула зарница.

— Гроза будет,—сказал Донат, помолчал, не двигаясь, и заговорил о другом:—Смотрю на ваше хозяйство, сударь. Ни к чему. Плохо. Весьма плохо. Без умения. Молодытина не подтянута. Без умения-с, без любви. Ни к чему.

— Как умеем,—сухо ответил Семен Иванович.—Не сразу.

— Мужичкам бы землишку, по-Божьи.

На террасу вышла Ирина, со свечою, в белом платии. Свечу Ирина поставила около Доната. Донат внимательно взглянул на нее, Ирина глаз не опустила, свет упал сбоку, зрачки Ирины вспыхнули красными краплаковыми огоньками.

— Семен Иванович, товарищи делают маленькое собрание в читальной,—сказала Ирина.—Товарища Юзика нет. Я побуду с гостем.

Семен Иванович поднялся, вслед ему сказал Донат: — Про конокрадов говорили-с? Конокрады иной раз попадают, это верно. Мы живем, как сто лет жили. А вы вот из Петербурга приехали, когда он в лишаи пошел-с, да-с. В тесное время. У нас Петербург давно прикончен. Жили без него и проживем, сударь.

— Извините, я сию минуту, — сказал Семен Иванович и вышел.

Ирина села на его место, к колонне. Сидели молча. Опять обвеял ветерок и принес отдых. С юга шла тяжелая туча, поблескивая гроыхала злобно. Стемнело черно, было тихо и душно. Шелестели у свечи бабочки. В гостиной заиграл на рояли Андрей. Вдруг вдалеке за усадьбой кто-то свистнул два раза коротким разбойничьим посвистом, должно быть сквозь пальцы. И Донат и Ирина насторожились. Донат пристально взглянул во мрак и опустил голову прислушиваясь. Ирина встала, постояла на ступеньках террасы и спустилась в темноту. Вскоре она вернулась, прошла в дом и вышла обратно в дождевом плаще и, босая, опять ушла за террасу. Закапал крупно дождь, рванулось несколько взмахов ветра, зашумели по-осеннему листья, свечной свет затрепыхался, точно качнулись каменные колонны и пол, и свеча потухла.

Семен Иванович прошел темными комнатами в читальную. В читальной горели две свечи, на диванах, на окнах, на полу в свободных позах сидели анархисты, курили, все — и мужчины и женщины, в синих блузах. У круглого стола принужденно стоял товарищ Константин. Семен Иванович сел к столу и взял карандаш.

— В чем дело, товарищи? — спросил Семен Иванович. Из угла, от Анны, ответил Кирилл:

— Мы хотим разрешить принципиальный вопрос. Товарищ Константин, уезжая в село, вынул у товарища Ни-

колая из ящика новые обмотки, без предупреждения, обмотки не вернул и этот факт вообще скрыл. Обмотки, само собой, не есть собственность товарища Николая, но они были в его пользовании. Как квалифицировать этот факт?

— Я мыслю это как воровство, — сказал Николай.

— Товарищи! Повремените! Нельзя так! — раздраженно возразил Семен Иванович и забарабанил тонкими своими пальцами по столу. — Надо сначала установить факт и принцип...

Семен Иванович говорил очень долго, потом говорили Кирилл, Константин, Николай, — и, наконец, вопрос окончательно запутался. Оказалось, что прецеденты уже были, Константин и Николай были в ссоре, и что Константину обмотки необходимы, а у Николая лишние. За окном гроыхал гром, сияли молнии, шумели вольно ветер и дождь. У свечей сиротливо летали бабочки, умирая. По стенам в шкафах тускло поблескивали корки книг и стекла. Стало очень дымно, от махорки. В конце опять говорил Семен Иванович — о том, что там, где подлинное братство, не может подняться вопроса о краже, но, с другой стороны, — это не принципиальное решение — и кончил:

— Я закрываю собрание, товарищи. Я хочу поделиться с вами другим фактом. Товарищ Андрей женится на товарище Ирине. Я думаю, это разумно. Кто-нибудь имеет сказать что-либо?

Никто ничего не сказал. Все шумно поднялись и стали расходиться.

Андрей, встав на заре, утром возил воду, а потом весь день чистил навоз, изнемогая от жары, в поту, с истомленными глазами. После обеда до колокола он не пошел спать, — сидел в гостиной и играл на рояли, и казалось, в его музыке слышны были и жужжанье слеп-

ней, и пустынная знойная степная тишина, пустынь, зной. После колокола он опять таскал навоз, а вечером снова играл. Когда Семен Иванович проходил гостиной после собрания, к нему подошел Андрей и, коснувшись его плеча, сказал:

— Семен Иванович!.. Я думал... Ирина. Я и она...

Семен Иванович освободил плечо, отстранив холодными своими пальцами руку Андрея, и раздраженно-устало отвел:

— Вы уже говорили, товарищ Андрей!.. Я слышал! Это ненормально. И вы, и Ирина разумные люди. Сентиментальная романтика абсолютно ни к чему. Братец уехал?

На террасе в колоннах шумел ветер, молнии полыхали ежеминутно, но гром гремел уже в стороне,—гроза проходила. Мрак был густ, черен и сыр. Полыхнула молния и осветила Доната, он сидел все в той же позе, в какой его оставил Семен Иванович, прямо, положив руку на стол и ногу на ногу.

— Извините, я задержался,—сказал Семен Иванович.

— Одначе, прощайте. Пора!—Донат поднялся.

— Куда же вы в грозу? Оставайтесь ночевать!

— Не впервой. Завтра вставать на зоре. Пахать! Я полем.

Вскоре Донат выезжал из усадьбы. Дождь прошел, молнии в стороне мигали бессильно, была воробьиная ночь. За усадьбой Донат остановил лошадь, приложил ладонь к глазам, весь в белом, верхом на черном коне. Всмотривался в фосфорические отсветы. Повременив, вставил два пальца в рот и коротко свистнул. Прислушался. Никто не ответил. Тогда Донат свернул с дороги и крупной рысью поехал по пустому полю.

Поздно ночью, когда гроза уже стихла, Баудек и Наталья пришли к раскопкам. У палаток жгли костер, суши-

лись и грели воду. Костер горел ярко, потрескивал, разметывая искры, и, быть может, от него ночь казалась душнее, чернее и четче. Иные у костра лежали, иные сидели, суша рубахи.

— А роса в ту ночь медвяна и лекарна, трава силу имеет особенную, целебную. И цветет в эту ночь, братцы, папортник. А итти в этот лес надо с оглядкою, братцы, потому переходят той ночью деревья с места на место... Как?..

Замолчали.

Кто-то встал, посмотреть котелок, корявая тень поползла по горе, упала за обрыв. Другой взял уголь и, перекидывая его с руки на руку, закурил. Было с минуту очень тихо, и в тишине четко слышались сверчки. За костром в степи полыхнула зарница, мертвый ее свет народился и исчезнул призрачно,—и зарница полыхнула не там, куда ушла гроза, а с юга,—должно быть, шла вторая гроза. Вороватый повеял ветерок, повеял влагою,—стало ясно, что идет вторая гроза.

Наталья и Баудек к огню не подошли, сели на тачках.

— А пришел я к вам, братцы,—не дело вы затеяли рыть эти места. Потому, место эта, Увек, тайная, и всегда она пахнет польнью. При Степане Тимофеевиче стояла здесь на самой веретии башня, и в ту башню заключена была персидская царевна, а персидская та царевна, красоты неписанной, оборочалась сорокою,—по степи летала, народ мутьянила, облютившись как волк, черноту наводила... Дело эта старобытная. Прознал про то атаман Степан Тимофеевич, пришел к башне, посмотрел в окошко,—лежит царевна, спит,—не домекнул, что это тело ее лежит, а души-то при ем нетути,—летала она, душа-то, сорокою по земле в тот час. Призвал атаман попа, окрестил окны святою водою живою... Ну, и летает с тех пор по Увеку душа неприкаенная, плачет, с телой своей соеди-

ниться не может, о стены каменные бьется. Башня та развалилась. Степан Тимофеевич на Капказ-горе прикован, а она все томится—плачет... Место эта глухая, тайная. Девки иночас за красотой за персидской сигають нагишом, ночью, в солноворот, об эту пору, иначе это не знатье... А так растет здесь полынка, и расти ей.

Кто-то возразил:

— Однако, отец, теперь Степан Тимофеевич атаман-Разин с горы той сошел, а стало-ть и копать можно. Теперь леворюция, народный бунт.

— Сошел-то, сошел, сынок,—сказал первый,—да не дошел еще до наших местов. По-времени, сынок,—по-времени!.. Все будет! А леворюция—это ты верно—наша, бунт! Время не пришла. Народ рылу свою покажет, покажет,—бунт! Мы молчим, а что молчим, знаем, что молчим! Огонь: он красный, кровь красная,—где огонь, там и кровь. Мы молчком, мы молчком!..

— Да-да!..

Один из землекопов поднялся, пошел к палатке, заметил Баудека и сказал сухо:

— И ты, Флорыч, слушаешь? мужицких наших разговоров тебе слушать не след! Мало ли что говорим.

Замолчали. Иные безразлично изменили позы, закурили.

— Время теперь благодатная. Прощевайте, братцы. Не судите, коли ште! Прощай, барин!—С земли поднялся старик с белой бородой, в белых портах, босой, не спеша пошел к балке,—это был знахарь, кривой Егорка.

Зарницы мелькали ближе, чаще, четче. Ночь темнела упорно, глубоко. Вновь померкли звезды. Издалека, из безбрежности докатился гром новой грозы.

Наталья сидела на тачке, опираясь руками о днище, склонив голову, костер освещал ее слабо, чуяла, осязала каждым уголком своего тела огромную радость, радост-

ную муку, сладкую боль; понимала, что горькая горечь полыни—сладость прекрасная, необыкновенная, безмерная радость. Каждое касание Баудека, еще неровное, обжигало живою водой.

Эту ночь нельзя было спать.

Гроза пришла с ливнем, с громами и молниями. Эта гроза застала Наталью и Баудека, за веретием, за развалинами башни персидской царевны, Наталья пила полынную—ту ведьмовскую скорбь, что оставила на Увек царевна персидская.

А когда Донат подъезжал к хуторам, отъехав уже верст пятнадцать от усадьбы, он услышал сзади себя в поле песню:

Ты свети, свети, свет светел месяц,
Обогрей ты нас, красно-солнышко!

Донат остановил лошадь. И вторая гроза уже ушла. далеко полыхали бессильные молнии. В степи были мрак и тишина. Вскоре послышалась конская рысь. Хутора были рядом, разметались в балке,—но если и днем на версту подъедешь к ним,—не заметишь—степь кругом пустая, голая. Донат положил пальцы в рот и свистнул, и ему ответили свистом. Подъехал всадник на сером киргизе-иноходце, тоже во всем белом

— Марк?

— Вы, батюшка?

— Был я на усадьбе, сын,—сказал Донат.—Слышал гвой посвист. Твой ли?

— Мой, батюшка.

— Девицу Арину выкликал?

— Ее, батюшка.

— В жены возьмешь?

— Возьму.

— Тебе жить. Гляди. Кони на усадьбе хороши. Ты откуда?

— Из степи, за пищей,—бабам далече итти... Что ж! бабы у нас здоровые, да вольные. Воля не грех! Я муж— научу!.. Кони на усадьбе хороши!

Донат и Марк подъехали к обрыву и стали гуськом спускаться вниз в заросли калины и дубков; в овраге после дождя было сыро и глухо, вязко пахло медуницей, копыта скользили, с ветвей падали холодные капли. Спустились на дно, перебрались через ручей и рысью поехали вверх. Дом Доната выполз из мрака сразу, и изба и двор под одной крышей. На дворе и в доме было пусто,—и люди, и скотина ушли в степь, на страду. Марк повел лошадей в стойло, задал овса. Донат снимал на крылечке кованные свои сапоги, кряхтел, умывался из глиняного рукомойника.

— Завтра на заре в поле поеду, пахать, отдохнуть! Побольше задай,—сказал Донат.

— А я к тебе братец, Донат,—заговорил третий, выходя из избы.—Зашел погодить, да задремал в грозу.

Донат трижды поцеловался с встречным. Все трое прошли в избу. В избе, в тепле пахло шалфеем, полынью и другими лекарными травами. Вздуги свет, мрак побегал под лавки, изба была большая, в несколько комнат, со светелкой, хозяйственная, убранная, чистая. На чистой половине по стенам висели седла, хомуты, седелки. Образов на стенах не было. Сели к столу. Донат достал из печки каши и баранины.

— Из степи, с огляда вернулся. Далеко заезжал,—заговорил третий.—Непокойно в степи. Говорили татары с Кривого Углуны, ходят де по степи, за царя говорят,

людей для войны скликают. Объезжал, сговорились,—увидят—упредят. У дальних братцев был. Царские бумаги все спалили—концы в воду. Пахари мол.

— Молодцов для войны не дадим,—сказал Донат.— Тогда в степь! К солностою верст семьдесят отскакать—овраги, в оврагах пещеры. Знашь?

— Знаю.

— Туда!.. На усадьбе—в газетах пишут—по чугунке по нашей кончилась война. Степь—она вольная. Да и концов ей нет.

Марк вышел на крыльцо. Облака расходились. Из-за них светила круглая зеленоватая луна. Марк потянулся крепко, сладко и зевнул и пошел на сено спать.

На рассвете Донат и Марк мчали по степи, оставив дома на столе хлеб, квас и кашу для заезжих (никогда дом не запирался),—навьюченные пищей для братьев, сестер и жен, что работали в степи, живя там под телегами, под небом и зноем, в летней страде, на земле. На востоке зорилась багряная покойная зоря, и горько пахло полынью.

Глазами Ирины.

(Это маленькая поэзия Ирины: ее глазами.)

„О степи, о ее удушьи, о несуразной помещичьей жизни, о помещичьи-крепостной пьяной вольнице, о борзых, наложницах, слезах,—говорит мне не степь, с ее зноем и пустынью, не старая эта усадьба, где сели мы,—кухня, что в полуподвале, говорит мне о смутном, разгульном, несуразном, о степной жизни и о степи. В кухне каменные кирпичные полы, огромные плита и печь, сводчатые потолки и стены обмазаны глиной, и в стены, к чему-то, ввинчены огромные ржавые кольца. В кухне

жужжат мухи, полумрак, жар и пахнет закваской А в гостиной, где окна завил плющ,—зеленый мрак, прохлада, и в этом прохладном зеленом мраке поблескивают портреты и золоченные шелковые кресла. Я вошла в дом через кухню.

„Сколько дней, прекрасных и радостных, у меня впереди?

„Знаю,—кругом леса и степь. Знаю, Семен Иванович, Андрей (мой жених!), Кирилл,—все верят, верят честно и бескорыстно. Знаю,—наши сектанты, которые ходят во всем белом и называют себя христианами, не только верят, но и живут на своих хуторах этой верою. Семен Иванович, уже усталый, говорит о добре сухо и зло, так же, как сухи его пальцы. Знаю,—люди живут, чтобы бороться и чтобы достать кусок хлеба,—чтобы бороться за женщину.

„Утром я валяюсь за усадьбой на пригорке, за старым ясенем, слежу за гусями и перебираю синие цветы, те, что от змеиного укуса. Среди дня я купаюсь в пруде под горячим солнцем, а возвращаюсь огородами и рву маки—белые с фиолетовыми пятнышками на дне и красные с черными тычинками. У пчельника меня обыкновенно ждет Андрей; я не замечаю, как он подходит. Он говорит:

„— Поделитесь со мною маками, товарищ Ирина,— пожалуйста!

„Я обыкновенно отвечаю так:

„— Разве мужчины просят?—мужчины берут! Берут свободно и вольно, как разбойники и анархисты! Вы ведь анархист, товарищ Андрей. В жизни все-таки есть цари,—те, у кого мышцы сильны, как камень, воля упруга, как сталь, ум свободен, как чорт, и кто красив, как Аполон или чорт. Надо уметь задушить человека и бить женщину. Разве же вы еще верите в какой-то гуманизм и справедливость?—к чорту всё! пусть вымрут все, кто не умеет бороться! Останутся одни сильные и свободные!..

„— Это сказал Дарвин,—говорит тихо Андрей.

„— К чорту! Это сказала я!

„Андрей глядит на меня восхищенно и придавленно, но меня не волнует его взгляд,—он не умеет смотреть, как Марк,—он никогда не поймет, что я красива и свободна и что мне тесно от свободы. И в эти минуты я вспоминаю кухню, с ее зноем, железными страшными кольцами, каменным полом и сводчатыми потолками. Разбойники сумели захватить право на жизнь,—и они жили, благословляю и их! К чорту анемию! Они умели пить радость, не думая о чужих слезах, они пьянствовали месяцами, умея опьяняться и вином, и женщинами, и борзыми. Пусть—разбойники.

„Из огорода в дом надо пройти кухней. В кухне, в жару, жужжат мухи как смерч, и по столу ходят цыплята. А в гостиной, где окна завиты плющом и свет зелен,—так же прохладно и тихо, как на дне старого, тенистого пруда.

„Знаю,—будет вечер. Вечером в своей комнате я обливаюсь водой и переплетаю косы. В окна идет лунный свет, у меня узкая белая кровать, и стены моей комнаты белы,—при лунном свете все кажется зеленоватым. У тела своя жизнь, я лежу, и начинает казаться, что мое тело бесконечно удлиняется, узкое-узкое, и пальцы как змеи. Или наоборот: тело сплющивается, голова уходит в плечи. А иногда тело кажется огромным, все растет удивительно, я еликанша, и нет возможности двинуть рукой, большой как километр. Или я кажусь себе маленьким комочком, легким как пух. Мыслей нет,—в тело вселяется томление, точно все тело немеет, точно кто-то гладит мягкой кисточкой, и кажется, что все предметы покрыты мягкой замшей: и кровать, и простыня, и стены—все обтянуто замшей.

„Тогда я думаю. Знаю,—теперешние дни, как никогда, несут только одно: борьбу за жизнь, не на живот, а на

смерть, поэтому так много смерти. К чорту сказки про какой-то гуманизм! У меня нету холодка, когда я думаю об этом: пусть останутся одни сильные. И всегда останется на прекрасном пьедестале женщина, всегда будет рыцарство. К чорту гуманизм и этику, — я хочу испить все, что мне дали и свобода, и ум, и инстинкт, — и инстинкт, — ибо теперешние дни — разве не борьба инстинкта?!

„Я смотрюсь в зеркало, — на меня глядит женщина, с глазами, черными, как смута, с губами, жаждущими пить, и мои ноздри кажутся мне чуткими, как паруса. В окно идет лунный свет: мое тело зеленовато. На меня глядит высокая, стройная, сильная голая женщина“.

„Старуха дала мне рубашек домотканного полотна, от которого жестко телу, сарафан, паневу, душегрею синего сукна, белый платочек, кованные сапожки с наборами и полусапожки, сунула зеркальце. В избе собрались братьцы, съехались с хуторов. Марк вывел меня за руку. Мужчины сидели справа, женщины — слева. Я целовалась сначала со всеми женщинами, затем с мужчинами. И я стала женою Марка.

„— Поди сюда, дочка Аринушка, — сказал старик Донат, взял меня за руку, посадил рядом, приголубив, и говорил, что все собравшиеся здесь — братья и сестры, новая моя семья, один за всех и все за одного, из избы сор не выносить, в дом придут — накорми, напой, чествуй, все отдай, всем поделись, — все наше. Все мужчины были здоровы и широкоплечи как Марк, и женщины — красивы, здоровы и опрятны, — все в белом.

„Марк. Помню ту ночь, когда он приехал с двумя конями, и мы мчали степью от коммуны, с тем, чтобы в темном доме мне остаться одной, в женской избе, во моаке, вдыхать шалфей и думать о том, что у меня по-

следняя жизнь, и нет уже воли. Марк ускакал в степь. А на утро и я ушла за ним. Я теперь знаю летнюю нашу страду мужицкую. Мои руки покрылись коркой мозоли, мое лицо загорело, почернело от солнца по бабьи, и вечером, после страды, купаясь в безымянной степной речке, уже холодной, я вместе с сестрами, удивительно здоровыми, покойными и красивыми, пою по-бабьи:

Ты свети, свети, свет светел месяц!
Обогрей ты нас — а-эх! — красно солнышко!

„Уже по-осеннему звездны ночи, и днем над степью разлито голубое вино. На хуторе готовятся к зиме, в закрома ссыпают золотую пшеницу, стада пришли из степи, и мужчины свозят сено.

„Марк со мной мало говорит, он приходит неожиданно, ночью, целует меня без слов, и руки его железны. Марку некогда со мной говорить, — он мой господин, но он и брат, защитник, товарищ. Старуха каждое утро задает мне работу и, хваля-уча, гладит по голове. Мне некогда размышлять. Как сладостно пахнет пот — пусть соленый! Я научилась повязываться, как повязываются все“.

„Ночью пришел Марк.

„— Вставай, поедем, — сказал он мне.

„На дворе стояли кони, были Донат и еще третий. Мы выехали в степь. Подо мной шел иноходец. Ночь была глуха и темна, моросил мелкий дождь. Впереди ехал Донат.

„— Куда мы едем? — спросила я Марка.

„— Повремени. Узнаешь.

„Вскоре мы выехали к усадьбе, обогнули балку и стали за конным двором. Все спешили, и мне сказали,

тобы я слезла. Поводья собрал третий. Мы подошли вплотную ко рву. Донат свернул вправо, мы подошли к дому.

„— Куда мы идем, Марк? — спросила я.

„— Тише. За конями, — сказал Марк. — Стой здесь. Если увидишь людей, — свистни, уйди к коням. Если услышишь шум, — иди к коням, скачи в поле. Я приду.

„Марк ушел. Я осталась стоять-следить. Разве могла я не подчиниться Марку? У меня нет родины, кроме этих степных хуторов, у меня нет никого, кроме Марка. Где-то в доме спали Семен Иванович и Андрей. Пускай! Дом стоял тяжело и сумрачно, во мраке. Моросил дождь. Мне не было жутко, но мое сердце колотилось — любовью, любовью и преданностью! Я раба!

„Марк подошел незаметно, неожиданно, как всегда. Взял за руку и повел ко рву. У рва стояли наши кони, мой и его иноходцы-киргизы, борзые и злые, как ветер. Марк помог мне сесть, вскочил сам, свистнул — и, схватив меня, перекинув на свое седло, прижав к груди, склонив свою голову надо мной, гикнув, помчал в степь, в степной осенний простор.

„Восток ковался багряными латами, солнце выбросило свои рапиры, когда мы примчали на дальние хутора, где мирно за столом сидели уже Донат, тот третий, кривой знахарь Егор, и на стол накрывала знахарка Арина с улыбкой покойной и дерзкой, как у ведьмы.

„Сколько дней, прекрасных и радостных, у меня впереди?“

Археолог Баудек достал листок, переписанный Донатом, и этот листок тщательно списывал Глеб Ордынин. Вот этот листок:

„Крестъ есть предметъ небреженія, но не чествованія, поелику онъ служилъ, подобно

плахъ и висѣлицъ, орудиємъ безчестія и смерти Христа. Нечтимо орудіе, убившее друга твоего. Тако слѣдуетъ почитать и іудеевъ, устроившихъ крестъ.

„Въ книгѣ Жезль въ имени Иисусъ истолкована троица и два естества! Введена присяга, коей не было даже у древнихъ еретиковъ! Въ треугольникѣ пишутъ по латынѣ Богъ! Ъдятъ давлению и звѣроядину! Волосы отрѣзаютъ и носятъ нѣмецкое платьє! Молятся съ еретиками, въ баняхъ съ ними моются и вступаютъ въ бракъ съ еретиками! Имѣютъ аптеки и больницы, женская ложесна руками осязаютъ и даже осматриваютъ! Конское ристаніе имѣютъ! Пьютъ и ѡдятъ съ музыкою, плясаніємъ и плесканіємъ! Женщины бываютъ съ непокрытыми головами и не прикрываютъ верхнихъ зазорныхъ тѣлесъ! Мужья съ женами зазорнымъ почитаютъ вмѣстѣ въ банѣ мыться и въ одной постели спать. Монашеское дѣвство несогласно со св. Писаніємъ: ап. Павелъ говорилъ, что отступать иные отъ вѣры, возбраня женитьбу и брашна!

„Отъ воли каждаго зависить, когда и какъ поститься! Чтимъ Единаго Господа Бога Саваофа и Сына Его Спасителя! Не токмо мученики, но и Марія-Дѣва не подлежатъ поклоненію, ибо сіе есть идолопоклонство, какъ и поклоненіе иконамъ! Житіе же блаженныхъ ради Христа юродивыхъ весьма не богоугодно, поелику юродство не благообразно! И какъ, видя огонь, не предполагаемъ мы въ немъ свойствъ воды, ни въ водѣ свойствъ огня, — такъ же нельзя предположить въ хлѣбѣ и винѣ свойствъ тѣла и крови! Тако же бракъ не есть таинство, но

любовь, — при собраніи мужчинъ и женщинъ родители благословляютъ жениха и невесту по подобію брака Товіи.

„Единая Книга есть—книга книгъ—Библия, и жить надлежитъ библейскимъ обычаемъ. Чти отца твоего и мать твою, люби ближняго, не сквернословь, трудись, думай о Господѣ Богѣ и о Ликѣ Его, въ тебѣ несомомъ.

„Единъ обрядъ чтимъ—обрядъ святаго Лобызанія. И едино правительство есть—духовная наша совѣсть и братскіе обычаи“.

ГЛАВА IV. КОМУ—ТАТОРЫ, А КОМУ—ЛЯТОРЫ.

(Объяснение к подзаголовку:

В Москве на Мясницкой стоит человек и читает вывеску магазина: „Коммутаторы, аккумуляторы“.

— Ком-му...таторы, а...кко-му...ляторы... — и говорит: — Вишь, и тут омманывают простой народ!..)

Провинция, знаете ли.—Городские таторы.

Знойное небо изливало знойное марево, небо было застлано голубым и бездонным. Цвел день, цвел июль. Целый день казалось—улицы, церкви, дома, мостовые: плавились в воздухе и трепетали едва приметно в расплавленном иссиня-золотом воздухе. Город спал: сном наяву, город Ордынин из камня. Дни зацветали, цвели, отцветали, сплошной вереницей, перецветали в недели. Цвел июль, и ночи июлевы оделись в бархат. Июль сменил платиновые июньские звезды на серебро, луна поднималась полная, круглая, влажная, укутывая мир и город Ордынин влажными бархатами и атласами. Ночами ползли сырые седые туманы. Дни же походили на солдатку в сарафане, в тридцать лет, на одну из тех, что жили в лесах за Ордыниным, к северному небесному

закрою: сладко ночами в овине целовать такую солдатку. Днями томили зной.

Вечером, в кинематографе „Венеция“ играл оркестр духовой музыки. Поднималась луна, земля куталась в бархаты, и люди шли смотреть, как „играет“ Холодная. В тот день Сергей Сергеевич писал „ведомость“, где указывал, что „за истекший месяц операций не происходило“ и „вкладов не поступало“. В павильоне сидели коммунисты в кожаных куртках и поили барышень чаем с ландринном (барышни всегда были и будут интерполитичны). Но вскоре духовой оркестр грянул Интернационалом, коммунисты встали и, так как скучно было стоять, сошли на дорожки в сад, к обывателям, — все стали ходить по кругу. — —

— Этих глав писание—обывательской! — —

Сергей Сергеевич встретил Лайтиса, товарищ Лайтис шел навстречу. Сергей Сергеевич приостановился и, широко улыбаясь, снял соломенную свою шляпу. приветствуя. — Товарищ Лайтис приветствия не заметил. — Товарищ Лайтис встретил Оленьку Кунц, Оленька Кунц шла навстречу, — товарищ Лайтис приветливо улыбнулся, приложил руку к козырьку, Оленька Кунц сказала строго:

— Здравствуйте! — и отвернулась к подруге, что-то сказав и рассмеявшись чему-то. Оркестр гудел Интернационалом, на деревьях горели фонарики, пары шли за парами. Сергей Сергеевич снова повстречался с товарищем Лайтисом, снова приподнял соломенную свою шляпу. Товарищ Лайтис ответил:

— Здравствуйте

— Добрый вечер! Погода... —

Но они разошлись

Товарищ Лайтис снова встретил Оленьку Кунц, Оленька Кунц взглянула сурово. От девичьего табунка Оленьки Кунц отделилась одна, — подошла, передала товарищу Лайтису листок из блок-нота. Оленька Кунц писала товарищу Лайтису:

„Я на вас очень сердита. Сегодня в полночь в нашем саду. Приходит!

„О. Ку (и палочки, и хвостик)“.

Погасли фонарики. Под навесом на экране метнулся красный петух. Оркестр рявкнул последний раз и зарокотало пианино. Товарищ Лайтис не пошел на места, товарищ Лайтис рассеянно стал сзади стульев. Сергей Сергеевич тоже рассеянно встал сзади стульев. Товарищ Лайтис рассеянно взглянул на Сергея Сергеевича, Сергей Сергеевич приподнял шляпу и протянул руку.

Поздоровались: — т-т-стел..

Помолчали.

— Провинция, знаете ли. Единственное развлечение — кинематограф..

Помолчали.

— Погода, жара невыносимая, знаете ли! Только вечером и можно отдохнуть.

Помолчали. На экране пили шампанское.

— И публика...

— Та?

— И публика, знаете ли... Недоверие, испуг, буржуазность. Я служу по финансам, — операций нет никаких.

Помолчали. На экране Холодная умирала от любви и страсти. Пианино то гремело негодуяще, то замирало в истоме.

— Провинция, знаете ли, глупость. Какие нелепые мысли рождаются! Если хотите, я вам расскажу эпизод. Абсурдные мысли!..

— Та?

— Только, знаете ли... это косвенно касается вас... Нелепые мысли!.. — Пианино зарокотало... — Ольга Семеновна Кунц...

— Сто? Ольга Земеновна Кунс?

— Только—удобно ли здесь?—Пойдемте, пройдемтесь. Сергей Сергеевич пропустил вперед товарища Лайтиса, Сергей Сергеевич шел не спеша, руки назад, оседая солидно на каждую ногу. За забором поднялась луна, и пианино приглохло, по углам сада плавал уже белый туман. Остановились.

— Только, знаете ли?.. Я затрудняюсь, как рассказать... Как эпизод провинциальных нравов... Провинция, знаете ли.

— Та?.. Ольга Земеновна Кунс?..

— Видите ли, у нас проживает сапожник Зилотов, беспартийный, но был солдатским депутатом. Сумасшедший человек, из масонов.

— Ну?

— У него, видите ли, странная идея... Ольга Семеновна должна, как бы, отдаться вам, принадлежать как женщина.

— То-эст?

— Вы должны овладеть ею и—непременно—в полночь, в монастырской церкви, в алтаре. Абсурдные мысли!..

Загудело пианино, рывкнуло, покатилося. Товарищ Лайтис быстрее, чем надо, закурил папиросу.

— А Ольга Земеновна знает?

— Не знаю, должно быть. Зилотов мне сообщал, что Ольга Семеновна девственница,—однако теперешний век, буржуазность...—Сергей Сергеевич развел в рассужденьях руками.

Пианино застонало.

— Ви каварите—монастырский церков?

— Да, знаете ли, из вашей квартиры есть проход.

— А Ольга Земеновна хосит?

— Ольга Семеновна? Ольга Семеновна барышня молодая!—Сергей Сергеевич рассудительно развел руками.— Провинция, знаете ли, обывательщина.

— Извините, доварищ. Я на минуту. Брошайте, доварищ!—товарищ Лайтис поспешно пожал руку Сергея Сергеевича, — Сергей Сергеевич не успел даже шаркнуть, — товарищ Лайтис поспешно пошел к выходу.

Пианино у экрана оборвалось на пол-ноте, вспыхнули фонарики, грянул духовой оркестр. Толпа полилась по дорожкам, отдыхая от экранной страсти. Оркестр буйствовал Варшавянкой.

Затем снова потухли лампочки, снова и снова необыкновенно любила и необыкновенно умирала Холодная... А над городом шла луна, а по городу ползли туманы, сплетая и путая пути и расстояния. Приходил час военного положения. И когда он пришел, — военного положения час—тогда „Венеция“ уже опустела.

— ...И Китай, — Небесная империя, — не глядел ли из подворотен? — Будет в повести этой, ниже, глава о большевиках, поэма о них.

— Дон, дон, дон! — в заводь болотную упали курантов три четверти. По городу ползли туманы, над городом ползла луна, полная, круглая, влажная, как страсть,—позеленели туманы, сквозь туманы в вышине едва приметны были звезды старого серебра, испепеленные зноем.

Куранты отбили три четверти, и товарищ Лайтис вышел из монастырских ворот. Товарищ Лайтис пошел по обрыву. Под обрывом горели костры, слышалась горькая песня, рядом внизу тосковали лягушки. Калитка в тени деревьев была полуоткрыта. Лайтис постоял у порога, —

товарищ Лайтис пошел вглубь. Безмолвствовали деревья, безмолвно полз туман. Тропинка исчезла, под ногами посырело, товарищ Лайтис различил пруд, у берега сгнившую, залитую водою лодку. Никого не было. Товарищ Лайтис внимательно осмотрелся кругом — деревья, туман, тишина, наверху в тумане мутный диск. Куранты пробили двенадцать. Товарищ Лайтис поспешно пошел назад, к тропинке, к дому. Сад был чужд. Дом, развалившиеся домовые службы, бледнее в лунном свете, безмолвствовали. Запахло малиной. И вдалеке где-то, точно вспыхнуло, тихо крикнула Оленька Кунц:

— Товарищ Я-ан!..

Товарищ Лайтис застрял в малиннике, снова вышел к пруду, уже с другой стороны, — луна отразилась в воде призрачно и бледно. И опять — тишина, туман, деревья.

— Олька Земеновна!..

Тишина.

— Я-ан!..

Вишняк, яблони, липовая аллея. Тишина и туман. И где-то рядом:

— Я-ан!..

Товарищ Лайтис побежал, наткнулся с разбегу на заборчик, не заметил, как ушиб колено. За заборчиком, в беседке, богатырски кто-то храпел. Часы пробили две четверти. И опять вдалеке:

— Я-ан!..

— Олька Земеновна!..

И тишина, только хруст ветвей от бега товарища Лайтиса. И тишина. И туман. И деревья. И больше уже никто не звал товарища Яна. Луна побледнела, зацепилась за верхушки деревьев. Товарищ Лайтис долго курил папиросу за папиросой, и скулы его были плотно сжаты. — Оленька Кунц уже лежала в постели рядом с подружкой (каждую неделю у Оленьки была новая подружка для

секретов и тайн). Куранты отбивали четверти еще и еще. На востоке легла алая лента, туманы заползли вверх. В утреннике зашелестели листья, и четче донесся лягушечий крик.

У монастырских ворот стоял часовой, сырой и серый в тумане.

— Если придет барышня, бровезди ко мне.

— Слушаю-с.

И в соборе:

— Дон, дон, дон!..

В монастыре, в келии матери-игуменьи, в маленькой комнатке, где спал товарищ Лайтис, — товарищ Лайтис разделся. Часы товарищ Лайтис положил в тужельку у изголовья, вышитую серебром, — тужельку эту, как и коврик у кровати, как и ночные туфли, как и чулки, — вязала мама товарища Лайтиса в его Лифляндской губернии. Товарищ Лайтис надел туфли, те, что плела его мама, взял скрипку и, став у окна, долго играл очень грустное. За окном, за переходами, за монастырской стеною, разгорался восток. Товарищ Лайтис брал ключи и зимним переходом ходил в зимнюю церковь. В церкви было безмолвно, едва приметно пахло ладаном и затхью, и в куполе появились уже золотые искры первых лучей.

День пришел тот, что похож на солдатку в сарафане, в тридцать лет.

Монастырь Введенъ-на-Горе.

У монастырских ворот стоял часовой. На востоке легла алая лента восхода, туманы поползли к небу, ввысь, луна побледнела. Несколько минут мир и город Ордыни — церкви, дома, мостовые — были зелеными, как вода, как заводь (в эти минуты монастырь походил на декорации

из театра). Затем мир и город Ордынин стали желтыми, как листопад. И золотой короной из ночи поднялось солнце. В этот час — в монастырских келиях, в душных комнатах со сводчатыми потолками, с пустыми киотами и бальзаминами в красных углах, на мягких монашеских пуховиках спали солдаты.

У монастырских ворот стоял часовой. Золотой короной поднялось солнце. Тогда к часовому по очереди подходили солдаты, и мимо часового по очереди проходили заспанные, усталые женщины, ибо час военного положения отбыл,

Ах, Оленька Кунц! о чистоте ее и о девственности мечтали поэты Семен Матвеев Зилотов и товарищ Лайтис, каждый до боли страстно и каждый по-своему. Разве, — почему не знали поэты Семен Матвеев Зилотов и товарищ Лайтис, что все знали в городе, что не особенно скрывала и сама Оленька Кунц, — что был в городе Ордынине прапорщик Череп-Черепас. Череп-Черепас, уезжая на фронт, к Колчаку, куда-то к городу Казани, катал Оленьку Кунц на тройках, затем у себя в номере гостиницы поил Оленьку Кунц спотыкачем, и Оленька Кунц ему отдалась, — так же просто, как отдавались все ее подружки. И это повторялось не один раз и не только с Череп-Черепасом, — прапорщик Череп-Черепас был убит где-то у города Казани, в солдатском бунте.

И все же...

Оленька Кунц на службе сидела в маленькой келии, чистой и светлой, как и сама Оленька Кунц. В келии на открытых оконцах грелись герани и бальзамины, и за окнами в саду чирикали воробьи. Оленька Кунц трещала на машинке. К Оленьке Кунц каждые четверть часа заходил товарищ Лайтис. Оленька Кунц смотрела победно.

Товарищ Лайтис сказал Оленьке Кунц:

— Ви вечером путете тома?

— Да, а что?

— Пожалуйста придите ко мне в кости. Мне секодня роштение.

— А вы кого еще пригласит? — поздравляю!

— Я хотел вас...

— Тогда я позову подругу Катю Ордынину, княжну.

— Ню...

— А вы позовит товарища Каррика.

— Ню...

Оленька Кунц улыбнулась победно, как заговорщица.

— Не беспокойт-с! У них роман — не помешают!

Только вы достаньте конфет и вина.

Товарищ Каррик в телефонную трубку ответил:

— Катька да Ольга? — приду! — притащу!..

Телефонная трубка пропела страстным звоном, и товарищ Лайтис каждые четверть часа заходил к Оленьке Кунц, чтобы напомнить еще и еще раз.

День испепелял зноем, знойные солнечные лучики плавили воздух, в монастырском саду кричали воробьи. В келии матери игуменьи, в маленькой комнатке, где спал товарищ Лайтис, — у товарища Лайтиса была корзиночка. В корзиночке лежало все дорогое, память о родине и маме. Из корзиночки товарищ Лайтис достал шелковую подушечку, расшитую мамиными руками в разные шерстяные цвета. Из корзиночки товарищ Лайтис достал атласное одеяло, стеганое мамиными руками. И подушечку и одеяло товарищ Лайтис отнес в зимнюю церковь.

И все...

Надо ли говорить?

Надо ли говорить о том, что было все так же просто,

как стакан чая? — Товарищ Лайтис мечтал о скрипке, и никакой скрипки не было. Товарищ Каррик принес с собой спотыкача. Оленька Кунц и подружка ее Катя Ордынина пришли, держась под-ручку и в косынках, спущенных на глаза. — Надо ли говорить? — древний монастырь безмолвствовал; в келии, со сводчатыми потолками, где из окон видны были монастырские переходы, церкви и стены, — товарищ Каррик заботливо поил барышень спотыкачем, и очень скоро Катерина Ордынина пересела с кресла на колени к товарищу Каррику.

И в этот же час, в дальнем углу монастырском, другой Ордынин, — архиепископ Сильвестр, — писал главу о городе. В темной келии с каменными стенами, на тесном столе, горели лампы, хлеб лежал, и склонился к столу серенький попик, гробом склонивший череп, мохом поросший, как келия. В бальзаминах оконце было высоко, в келию шла только ночь, и не шел июль, и у двери, скрючившись, спал черный монашек-келейник. В тишине лохматый попик писал:

„...Лес, перелески, болота, поля, тихое небо, проселки. Иной раз проселки сходятся в шляк, по шляху пошел Бунт. Около шляха прошла чугушка. Чугушка пошла в города, и в городах жили те иные, кои стомились итти по проселкам, кои линейками ставили шляхи, забываясь в гранит и железо. И в города народный проселочный Бунт принес — смерть. В городе, в тоске об ушедшем, в страхе от Бунта народного — все служили и писали бумаги. Все до одного в городе служили, чтобы обслуживать самих себя, и все до одного в городе писали бумаги, чтобы запутаться в них — бумагах, в бумажках, карточках, картах, плакатах. В городе

исчезнул хлеб, в городе потухнул свет, в городе иссякла вода, в городе не было тепла, — в городе пропали даже собаки, кошки (и народились мыши, чтобы есть припрятанное), — и даже крапива на городских окраинах исчезла, которую порвали ребятишки для щей. В харчевнях, где не было ложек, толпились старики в котелках, и старухи в шляпах, костлявыми пальцами судорожно хватавшие с тарелок объедки. На перекрестках, у церквей, у святынь негодяи продавали за страшные деньги гнилой хлеб и гнилую картошку, — у церквей, куда сотнями стаскивали мертвецов, которых не успевали похоронить, закабалия похороны в бумагу. По городу шатались голод, сифилис и смерть. По проспектам обезумевшие металась автомобили, томясь в предсмертной муке. Люди дичали, мечтая о хлебе и картошке, люди голодали, сидели без света и мерзнули, — люди растаскивали заборы, деревянные стройки, чтобы согреть умирающий камень и писцовые конторы. Красная кровяная жизнь ушла из города, как и не была здесь, положим, — пришла белая бумажная жизнь — смерть. Город умирал, без рождения. И жутко было весной, когда на улицах, как ладан на похоронах, тлели дымные костры, жигая пададь, кутая город смердным удушьем, — на улицах — разграбленных, растащенных, захарканных, с побитыми окнами, с заколоченными домами, с ободранными фронтонами. А люди, разъезжавшие ранее с кокотками по ресторанам, любившие жен без детей, имевшие руки без мозолей и к сорокам годам табес, мечтавшие о Монако, с идеалами Поль-де-Кока,

с выучкою немцев, — хотели еще и еще ободрать, ограбить город, мертвеца, чтобы увезти украденное в деревню, сменять на хлеб, добытый мозолями, не умереть сегодня, отодвинув смерть на месяц, чтобы снова писать свои бумаги, любить теперь уже по праву без детей и вожделенно ждать прогнившее старое, не смея понять, что им осталось одно — смердеть смертию, умереть, — и что вожделенное старое и есть смерть, путь к смерти...

А за городом, на окраинах, разгоралось новое, холодное, багряное возрождение..."

Так записывал серый попик в кирпичной своей келии за монашком и бальзаминами, склонив гроб черепа к столу с краюхой хлеба и листами бумаги.

Товарищ Лайтис заиграл было на скрипке, — и его оборвал товарищ Каррик: — не стоит тянуть kota за хвост!

Оленька Кунц сказала:

— Пойдем, пройдемтесь

А когда они столкнулись в дверях, когда в мозгах товарища Лайтиса все полетело к чертовой матери, — слов уже не было. — —

У монастырских ворот стоял часовой.

Бледными полосами лежал лунный свет. Над миром, над монастырем шла круглая, полная луна, окутывая мир и монастырь бархатами и атласами. Прошелестели расцветные ветры, отквакали миру лягушки. Позеленело, и в золотой короне поднялось солнце.

Тогда к часовому по очереди подходили солдаты, и мимо часового по очереди проходили заспанные усталые женщины, ибо час военного положения отбыл. И мимо

часового прошли Оленька Кунц и подружка ее княжна Катя Ордынина, под-ручку, со спущенными на глаза козырьками, дожевывая конфеты.

П о ж а р . — Л я т о р ы .

И все же...

Кремль и соборная площадь из камня. В пустыне дня бьют колокола в монастыре стеклянным звоном, во снах в расплавленном зное.

— Дон! дон! дон! — бьют колокола, и окна в домах раскрыты. На огороде Семена Матвеева Зилотова созревают помидоры.

На службе Сергея Сергеевича, в сберегательной кассе, помощник, карты сдавая (Сергей Сергеевич и его помощник в преферанс с болваном играли), — помощник, карты сдавая, сказал:

— А знаешь, Ольга твоя Семеновна, — того! Нынче ночью у коммунистов в монастыре ночевала, спасалась с Лайтисом. Ямские девки говорили — видели.

И все, — и все же...

Дома, со службы вернувшись, Сергей Сергеевич спустился в подвал к Семену Матвееву Зилотову, — шел, оседаая на каждую ногу, и, еще с верхней ступеньки ступая, захохотал Сергей Сергеевич богатырски:

— Хо-хо! Ольга Семеновна! Ночью в монастыре с Лайтисом спасалась! Хо-хо! Я подстроил!

Семен Матвеев лежал на печи. Семен Матвеев сполз с печи. В скошенном на сторону лице Семена Матвеева Зилотова появилось нечто растерянное и беспомощное, что его придавило. Семен Матвеев присел на корточки, поджав поджарые свои ноги, и прошептал:

— Клянись! Пентаграмма? Ей-чорту?

— Клянусь! Пентаграмма! Ей-чорту!

— Во алтаре?

— В алтаре.

— Ну, что же... Теперь ступай, Сергеич! Дай побыть...—появилось в лице Семена Матвеева жалкое и беспомощное, и, не поднимаясь с корточек, как прибитый кобель, Семен Матвеев пополз на печь. — Теперь ступай, Сергеич... Дай побыть одному.—Семен Матвеев сказал тихо и скорбно.—Дай побыть!..

И все вот,—и все же...

Возвращаясь со службы, с подружкой, Оленька Кунц,—от калитки до заднего хода—по доскам, среди дворовой муравы проложенным,—пробежала, шумя каблучками. И обе пели:

В том саду, где мы с вами встретились,
Хризантемы куст...

Вечером Оленька Кунц пошла в кинематограф „Венеция“, там „играла“ Вера Холодная. Вечером над миром, городом Ордыниным и над монастырем поднялась луна. Вечером Семен Матвеев был у архиепископа Сильвестра и приносил ему помидор. Семен Матвеев по-разному складывал пятиугольник,—Берлин, Вена, Лондон, Париж, Рим склонялись к Москве, и получался красный помидор. Архиепископ Сильвестр, в черной рясе, стоял строго и смотрел хмуро, и воскликнул в конце:

— Зablужденье! Зablужденье! Ересь! Песни народные вспомни, грудастые, крепкие, лешего, ведьму! Леший за дело взялся, крепкий, работающий. Иванушку-дурачка, юродство—по боку. Кожаные куртки. С топорами. С дубинами. Мужик! Без сна!—Ересь! А за помидорки—спасибо!

И когда Оленька Кунц возвращалась из кинематографа „Венеция“, над монастырем вспыхнуло красное зарево пожара. Красными петухами взвились огненные языки, красные петухи охватили, окутали монастырские переходы и келии. После долгого молчания загудели набатом монастырские колокола,—как красные петухи пожара, заметался набат. Звеня колокольцами и треща по булыжникам мостовой, примчалась без воды пожарная команда, и застоявшиеся пожарные сорвали баграми своими красную вывеску с красной звездой,—

— „Отдел Народной Охраны Ордынского Совдепа“—ту, которая как раз против объявления:

— „Здѣсь продаются пѣмадоры“.

Метелицы искр уносились в небо. Из переходов, из окон выскакивали солдаты и женщины (был уже час военного положения). Рухнул один переход: тот, что вел из келии матери игуменьи в зимнюю церковь. Был уже час военного положения, но потому, что пожар всегда прекрасен, всегда необыкновенен, всегда зловещ,—никто не спрашивал пропусков, и вокруг монастырских стен толпилась толпа.

Монастырь Введенъ-на-Горе на семьдесят верст виден был, сгорая. Метелицы искр уносились в черное небо, разливались в черной бездне. Рухнул один переход, и другой. Главный дом весь обьяло пламя. Последнее. Монастырь погибал,—на семьдесят верст виден был, сгорая.

И вдруг заметили: на крыше в слуховом окне появился Семен Матвеев Зилотов. Иссушенной своей походкой, как старый кобель, Семен Матвеев Зилотов подошел ко краю, постоял перед полымем, крикнул что-то дикое и, прижав ладони к лицу, бросился—упал вниз, в дым, в метелицу искр, в полымя. И тогда же на камен-

ной стене появились два монашка, — молодой, черный, повисел на крае и спрыгнул благополучно в толпу, а другой, серенький, высунув два раза голову из-за стены, снова исчезнул за ней.

Семен Матвеев Зилотов. От тихой младости наделил бог великого начетчика, Семена Матвеева Зилотова, страстной и нежной любовью к книгам. Дни его протекали в Ордынине. Но Ордынин последний раз жил семьдесят лет назад, и в Ордынине была единственная книжная торговля (покупка и продажа) — рундук Варыгина в рядах, где продавались и вновь покупались одни и те же книги, в кожаных переплетах и пахнущие клопами. Имена этих книг:

„Пентаграмма, или Масонский знакъ, переводъ съ французскаго“. „Оптимизмъ, т.-е. наилучший свѣтъ, переводъ съ французскаго“. „Бытіе разумное или нравственное воззрѣніе на достоинство жизни, переводъ съ французскаго, издание Логики и Метафисики Профессора Андрея Брянцева“. „Черная магія Папюса“. „Масонскія Ложи, или Великіе Каменщики, переводъ съ французскаго“.

Мертвые дни мертвого города украсил Папюс. Младость Семена Матвеева Зилотова, — в доме Волковичей, в подвале, — украсила книжная мудрость переводов с французского, и зной знойных июлей иссушил страстный мозг Семена Матвеева Зилотова. О, книги!

Война вспыхнула знойным июлем, лесными пожарами, Семен Матвеев поехал на фронт рядовым. Война сгорела Революцией, и за великую свою ученость был избран от эс-эров Семен Зилотов в Совет Солдатских Депутатов,

в Культурно-Просветительный Отдел. Революция горела речами, — Семен Матвеев Зилотов развезжал с лекторами на штабных мотоциклах, чтобы говорить солдатам — в каком-нибудь помещицьем фольварке — о праве, о братстве, — о государстве, о республике, — о Французской Коммуне и о Гришке Распутине.

И солдаты после лекций подавали записки:

— „А что будет с Гришкой в царствии небесном?“ — „Товарищ Лекцир! А што будит с маєю женою, если я на фронти буду голосить за есер, а она за Пуришкевича?“ — „Прошу тебе объяснить можно ли состоять в двух партиев сразу тов. есер и тов. большевиков?“ — „Товарищ лекционер! Прошу тебе объяснить при програми большевиков будит штраховаца посев на полях или представляется экспроприация капиталу?“ — „Господин товарищ! будут ли освобождаться женщины от восьмичасового дня во время месячного очищения и просим вкратце объяснить биеграфий Виктора Гюга. Тов. Ерзов“.

И Семену Матвееву Зилотову часто приходилось выручать лекторов, — где-нибудь в сарае фольварка, — влезая на стол и крича:

— Товарищи! Я, как ваш народный избранник, прошу дурацких глупостей не писать!

Это было в милом нашем Полесьи, где озера, валуны, холмы, сосны да бледное небо. Лето отходило тихим августом с тихими его долгими вечерами. Днем солдаты писали *глупости*, а вечером, где-нибудь за бруствером или на оконном дворе фольварка, солдаты кипятили котелки и — рассказывали: о делах своих и сказки. Солдаты

говорили простыми своими мужицкими словами про Иванушку-дурачка, где простота и правда кривду борет, о наших тихих полях, печали полей, о лесах, об избяной Руси,—слова их были ясны и чисты, как августовские эти вечера, образы ясны и светлы, как августовские эти звезды, и мечтанья прекрасны.

Две души, восток и запад, народная мудрость, истинное, наше, прекрасное, глупость и мудрость, сказочная правда, заплетенная горем и кривдой, века лежавшая под гремучим камнем и расплетенная — правдой же. Семен Матвеев Зилотов увидел это вплотную. Но, — о, книги! — Семен Матвеев Зилотов узрел тут — — — Разъезжая с оратором по окопам, однажды утречком пил Семен Матвеев Зилотов чай за бруствером, по брустверу ударил немецкий снаряд, Семена Матвеева закопало вместе с блюдцем, другим же снарядом выкинуло наружу (блюдце осталось цело), — и Семен Матвеев очнулся, возвратился в мир реальностей только через месяц в родном своем Ордынине; телесный облик Семена Матвеева искажился: лицо его скосило на сторону, ус один стал казаться больше другого, правый глаз вытек, тело иссохло, и стал ходить Семен Матвеев Зилотов, как хляк изъеденные старостью, исхудалые гончие кобели; иссушенный мозг Семена Матвеева Зилотова, изъеденный месяцем смерти, изъеденный книгами Варыгинского рундука (в кожаных переплетах и с клопиным запахом), не приметив мудрости избяной Руси, узрел великую тайну: — две души, великая тайна, черная магия, пентаграмма, пентаграмма из книги „Пентаграмма, или Масонский знак, переводъ съ французскаго“! (Варыгин в те дни сидел уже заложником в тюрьме.) На красноармейских фуражках в те дни появилась уже пятиугольная красная звезда. Россия. Революция. Книги говорили, как заказывали ду-

мать сто лет назад. И вот она, Россия, взбаломученная, мутная, ползущая, скачущая, нищая! Надо, надо Россию скрестить с Западом, смешать кровь, должен прийти человек — через двадцать лет! На красноармейских фуражках загорелась мистическим криком пентаграмма („переводъ съ французскаго“), — она принесет, донесет, спасет. Черная магия — чорт! Чорт, — а не бог! Бога попрайт! В церкви, во алтаре, Россия скрестится с Западом. Россия. Революция. Спасти Россию! — мечтанья юности и иссушенный мозг в мечтаньях!

Товарищ Лайтис подписал мандаты на арест Оленьки Кунц и Сергея Сергеевича.

Обыватель Сергей Сергеевич. Подлинно, — был ли Сергей Сергеевич только провокатором и мелким буржуа? Вечером перед арестом Сергей Сергеевич, разостлав салфетку, ел помидоры с зилотовского огорода, с уксусом и перцем. Затем Сергей Сергеевич разделся, лег спать и перед сном, один перед собой — думал. Сергей Сергеевич *страдал*, искренне и глубоко, и, как всякое страдание, и, как все искреннее, — боль его была *прекрасна*. Сергей Сергеевич *ненавидел*, как трус, — эти дни, товарища Лайтиса, всех, все, — и *боялся*, боялся до ужаса, до физической боли, до отупения... —

И внизу, по лестнице, забоцали солдатские сапоги. Когда солдаты вошли в комнату Сергея Сергеевича, Сергей Сергеевич сидел, забившись в угол кровати, глаза его были открыты болезненно широко, отвисла широко отекающая челюсть, и он шептал:

— За что? за что?

— Так что подробности слышны, а детали неизвестны! — сказал солдат. — Одевайся. Там узнаешь!

Впрочем, компарт дал приказ арестовать Лайтиса.
Общежитие же большевиков, выселив князей Ордынских поместилось в доме на Старом взвозе.

— Дон! дон! дон! — падают камни колоколов в заводь города.

Кому — таторы, а кому — ляторы!

ГЛАВА V. СМЕРТИ (триптих первый).

Смерть коммуны.

И в эти же дни погибла коммуна в Поречьи: погибла сразу, в несколько дней, в августе. Шли дожди, ночи были тихи и глухи, — и ночью приехали в коммуны неизвестные вооруженные, в папах и бурках, их привел неизвестный черномазый, товарищ Герри. За неделю до этого ушел из коммуны Шура Стеценко, он вернулся с Герри. В сумерки пришла гроза, шумел дождь, дул ветер. Андрей уезжал с утра в дальнее поле, в сумерки он застал в библиотеке Юзика, Семена Ивановича и Герри; они топили камин, жгли бумаги. Семен Иванович поспешно вышел. Юзик стоял, расставив тонкие свои ноги, положив руку на талию Герри, в папаше, сидел на корточках против огня.

— Вы не знакомы? — товарищ Андгей, — товарищ Гэгги.

Герри молча подал огромную руку и сказал Юзику по-английски. Юзик презрительно пожал плечами и промолчал:

— Товарищ Андгей не понимает английски, — сказал Юзик.

— Ви минэ простытэ, товарищ Андрей, но я очень устал, — губы Герри, не приспособленные к улыбке, растянулись в усмешку, но смоляные его глаза по-прежнему остались тяжелы и холодны, очень сосредоточенные.

— Гэгги приехал с Укгаины, там [кого будет восстание. Мы с Гэгги долго вместе голодали в Канаде. Затем на Укгаине я спас ему жизнь. Когда гайдамаки бгали Екатегинослав, Гэгги, не умея наводить, стгелял по гогоду из пушки—не умея наводить! Гэгги, говогят, ты был пьян? Гэгги схватили и хотели гастгелять. Но вечегом пришел я со своим отгядом и спас жизнь Гэгги. Я очень люблю жизнь, товагищ Гэгги, — как и ты. Я ничего не хочу от дугуих, но я не позволю тгонуть меня.

— Товариш Юзэф, когда придет старость, мы будем вспоминать. Ты очень фразичен!

— Я очень люблю жизнь, Гэгги, ибо у меня свободная воля!

— Ты очень фразичен, товариш Юзэф!

— Пусть так!—Юзик пожал презрительно плечом.

Герри встал, разминая мышцы. Огонь в камине стухал. Юзик стоял неподвижно, с руками на тонкой своей высокой талии, смотрел в огонь. В кабинет вошли Оскерко, Николай, Кирилл, Наталья, Анна, Павленко. Стасик в гостиной заиграл на рояли гопака, сейчас же оборвал. Наталья подошла сзади к Юзику, положила руки ему на плечи, прислонила голову и сказала:

— Милый товарищ Юзик! Не надо грустить. Какой дождь! Мы собрались, чтобы быть вместе этот вечер.

Вошел Стасик в халате с кистями, рявкнул:

— Юзка, не журься! Хиба ж ты дурак?!

Юзик повернулся и громко сказал, покойно и презрительно:

— Товагищи! Шуга Стеценко—не товагищ и не геволюционег. Он пргосто бандит. Гэгги гость. Давайте веселиться!

В коммуне, в старом княжеском доме, веселились бесшабашно, задорно и молодо. За окнами стал черный мрак, хлестал дождь, шумел ветер. В гостиной зажгли кенкеты,

последний раз зажигавшиеся, верно, при князьях, танцовали, пели, играли в наборы, метелили метелицу. Павленко и Наталья таинственно принесли окорок, бутылки с коньяком и водками и корзину яблок. Герри и с ним приехавших не было, и от того, что за стенами были чужие, от того, что над землей шли осенние, уже холодные облака,— было в зале особенно уютно и весело. Варили жженку, обносили всех чарочкой, разбредались по разным углам и собирались вновь, шутили, спорили, говорили. Разошлись за полночь,—Андрей выходил на террасу, слушал ветер, следил за мраком, думал о том, что земля идет к осени. К серой нашей тоскливой осени, застрявшей в туманных полях, желтых суходолах. В гостиной все уже разошлись. Юзик говорил Оскерке:

— Надо везде поставить стгажу. В доме прикгоются—ты, Павленко, Свирид и Николай. С винтовками и бомбами.—Юзик повернулся к Андрею, улыбнулся.—Товагищ Андгей! Мы с вами будем ночевать здесь в угловой, в диванной. Я вас погвожу.

В угловой, у зеркала мутно горела свеча. С двух сторон в большие окна, закругленные вверху, дул ветер; верно, рамы были плохо прикрыты,—ветер ходил по комнате, свистел уныло. Юзик долго умывался и чистился, затем обратился к Андрею:

— Будьте добгы, товагищ Андгей, примите покой. Я буду занят еще полчаса.—Взял свечку и ушел, свечку оставил в соседней комнате, в кабинете, шаги стихли вдалеке. Свечной тусклый свет падал из-за портьеры.

Долго было тихо. Андрей лег на диван. И вдруг в кабинете заговорили,—обратных шагов Андрей не слышал.

— Юзик, ты должен сказать все,—сказал Кирилл.

— Тише,—голоса второго Андрей не узнал.

— Хорошо, я скажу,—Юзик говорил шопотом, долго, покойно, отрывки Андрей слышал.

— Гэгги и Стеценко подошли ко мне, и Гэгги сказал: — „ты агестован“. Но я положил гуку в кагман и ответил: „товагищ Гэгги, я так же люблю жизнь, как и ты, и каждый, кто поднимет гуку, умрет пгежде меня“. Я сказал и пошел, а они остались стоять, потому что они бандиты и тгусы...

— ...Гэгги тгебует те миллионы, что мы взяли в экспгопгизации Екатегинославского банка... Гэгги забыл Канаду...

— ...Я ему ничего не дам. Меня погодила геволуция и смегть, кговь.

Шопот был долог и томителен, затем Юзик громко сказал, так, как всегда:

— Павленко, пгишли ко мне Гэгги. Скажи Кигиллу и Свигиду, чтобы они скгылись в этой комнате, с огужием.

Шаги Павленко стихли, стала тишина, пришли двое, брящая винтовками, Свирид стал за портьеру около Андрея. Затем издали загремели тяжелые шаги Герри.

— Товариш Юзэф, ти минэ звал?

— Да. Я хотел тебе сказать, что ты ничего от меня не получишь. И я пгашу тебя сейчас же покинуть коммуну,—Юзик повернулся и четким шагом пошел в угловую.

— Товариш Юзэф!

Юзик не откликнулся, на минуту был слышен сиротливый ветер,—забоцали обратно кованые сапоги Герри. Андрей сделал вид, что спит. Юзик бесшумно разделся и лег, сейчас же захрапел.

На рассвете Андрея разбудили выстрелы.—Бах-бах!— грянуло в соседней комнате, издали ответили залпом, донеслись выстрелы со двора, на крыльце затрещала пу-

лемет и сейчас же стих. Андрей вскочил—его остановил Юзик. Юзик лежал в постели со свешенной рукой, и в руке был зажат браунинг.

— Товагищ Андгей, не волнуйтесь. Это недогазумение.

Утром в коммуне никого уже не было. Дом, двор, парк были пусты. Анна сказала Андрею, что в сторожке у ворот со львами лежат убитые.—Павленко, Свирид, Герри, Стеценко и Наталья.

Днем пришел в коммуну наряд солдат от Совета.

Последнюю ночь Андрей провел у Николы, что на Белых Колодезях. Егорка ходил вечером осматривать жерлицы, принес шуку. Сидели с лучиной, ночь пришла черная, глухая, дождливая. Андрей ходил на ключ за водой, у Николы на колокольне гудели уныло, от ветра, колокола, церковь во мраке казалась еще более вросшей в землю, еще более дряхлой. Шумели сосны. И от сосен из мрака подъехал всадник, в папахе, бурке и с винтовкой.

— Кто едет?

— Гайда!

— Товариш Юзик?

— Это вы, товагищ Андгей?—Юзик остановил лошадь.—Я к вам.—Помолчал.—Вам надо уйти отсюда. Утром вас схватят и должно быть гасстгеляют. Завтра мы уходим отсюда—на Укгаину. Идите с нами.

Андрей отказался итти. Простились.

— Ского уже осень. Нет звезд. Миговая тгюгма—помните? Дай бог вам всякого счастья! Жить!

Юзик помолчал, потом круто повернул лошадь и поехал рысью.

На рассвете Андрей был уже на станции, на „Разъезде Мар“, протискивался к мешочникам в теплушку. В рассветной серой мути сиротливо плакал ребенок, и томительно, однообразно кричал переутомленно веселый голос:

— Гаврила, крути-и! Крути-и, Гаврю-юшка-а!..

Поезд стоял очень долго, затем медленно тронулся, томительный и грязный, как свинья.

Так погибла коммуна анархистов в Поречьи.—

— И вот рассказ о том, как погибнуло помещичье Поречье: это было в первые дни революции, в первых кострах революции, с тех пор много уже сгорело костров, и много песен метельных отпели дни, унося людей. Вот рассказ.—

Первое умирание.—

— Впрочем, разве в революцию умерло мертвое?! Это было в первые дни революции. Вот рассказ.

Отрывок первый. Это родовое. Ордыниных, без Попковых.

В окна гостиной долго, сквозь пустой осенний парк глядело солнце. В пустой осенней тишине над полями кричали „вороньи свадьбы“. В этом доме, так казалось, прошла вся жизнь, теперь надо было уезжать, навсегда: сам председатель, Иван Колотуров-Кононов, принес последнее предписание, в кухне уже поселились те, чужие.

Утром встал с синим рассветом, день пришел золотой, ясный, с бездонной, синей небесной твердью,—раньше отцы в такие дни травили борзыми. В полях теперь голо, торчат мертвые ржаные стрелы, должно быть скулят уже волки. Вчера вечером приколачивали у парадного красную вывеску:—

„— Чернореченский Комитет Бедноты—“

— и шумели всю ночь в зале, что-то устанавливая. Гостиная стоит еще по-прежнему, в читальной за стеклами блестят еще золоченые корешки книг,—о, книги! ужели избудет яд ваш и сладости ваши?

Утром встал с синим рассветом—князь Андрей Ордынин, младший брат старика,—и ушел в поле, бродил весь день, пил последнее осеннее вино, слушал вороньи свадьбы: в детстве, когда видел этот осенний птичий карнавал, хлопал в ладошки и кричал неистово:—„Чур, на мою свадьбу! Чур, на мою свадьбу!“—Никогда никакой свадьбы не было, дни уже подсчитываются, жил, для любви, было много любовей, была боль, и есть боль—и пустота, опустошение. Была отравка московской Поварской, книг и женщин,—была грусть осеннего Поречья, всегда жил здесь осенью. Это его мысли. Шел пустыми полями без дорог, в лощинах багряно сгорали осины, сзади под Увеком стоял белый дом, в лиловых купах редящего парка. Безмерно далеки были дали, синие, хрустальные. Виски поредели и сереют—не остановишь, не вернешь.

В поле повстречался мужик, исконный, всегдашний, с возом мешков, в овчине,—стена молчащая,—снял шапку, остановил клячу, пока проходил—барин.

— Здравствуй, ваше сиятельство! — чмокнул, дернул возжами, поехал, потом снова остановился, крикнул: — Барин! слышь-суды, сказать хочу!

Вернулся. Лицо мужика все заросло волосами, в моштинах, — старик.

— Что же теперь делать будешь, барин?

— Трудно сказать!

— Уйдешь когда? Хлеб отбирают — бедные комитеты. Ни спичек, ни мануфактуры, — лучину жгу!.. Хлеб не велят продавать, — слышь-суды, — тайком на станцию везу! Из Москвы наехало — ии!.. Тридцать пять — тридцать пять!.. Да што на их укупишь? Одначе весело, все-таки, очень весело!.. Закури, барин.

Никогда не курил махорки, — свернул цыгарку. Кругом степь, никто не увидит, кажется, что мужик жалеет, и хочется жалости. Попрошался за руку, повернулся круто, пошел домой. В парке в пруду вода была зеркальная, синяя, — вода в пруду всегда была холодной, прозрачной, как стекло: еще не время замерзнуть окончательно. Солнце уже переместилось к западу.

Прошел в кабинет, сел к столу, открыл ящики с письмами — вся жизнь, не увезешь с собою. Вытряхнул ящики на стол, пошел в гостиную к камину. На столе для альбомов стояла кринка молока, хлеб. Зажег камин, жег бумаги, стоял около и пил молоко, ел хлеб — проголодался за день. Уже входили в комнату синие вечерние тени, за окнами стал лиловый туман. Камин горел палево, молоко было несвежим, хлеб зачерствел.

В тишине коридора заботали сапоги. Вошел Иван Колотуров, председатель, в шинели, с револьвером у пояса, — Иван Колотуров-Кононов: — вместе играли мальчишками, потом был рассудительным мужиком, хозяйственным, работным. Молча передал бумагу, стал среди комнаты.

В бумаге было наремингтонено:

„Помещику Ордынину. Черноречский Комитет Бедноты немедленно предписывает покинуть присутствием советское имение Поречье и пределы уезда. Председатель Ив. Колотуров“.

— Что же, сегодня вечером уеду.

— Лошади вам не будет.

— Пойду пешком.

— Как знает! Вещей никаких не брать! — повернулся, постоял спиною в раздумьи минуту и ушел.

Как раз в это время пробил час три четверти, — часы работы Кувалдина, мастера восемнадцатого века, они были в кремлевском дворце в Москве, потом путешествовали с князьями Вадковскими по Кавказу, — сколько раз они сделали свое „тик-так“, чтобы унести два столетия? — Сел у окна, глядел в поредевший парк, сидел неподвижно с час, опираясь локтями о мраморный подоконник, думал, вспоминал. Раздумье прервал Колотуров, — вошел молча с двумя парнями, прошли в кабинет, молча силились поднять письменный стол, треснуло что-то.

Встал, заспешил. Надел широкое свое английское пальто, фетровую шляпу, вышел через террасу, прошел по шуршащим листьям экономней, мимо конного двора, винокурного завода, спустился в балку, поднялся на другой ее край, к Николе, устал и решил, что надо итти не спеша — итти тридцать верст, первый раз итти здесь пешком. Как, в сущности, просто все, — так думал, — и — и страшно лишь простотою своею!

Солнце уже ушло за землю, багряно горел запад. Пролетела последняя воронья свадьба, и стала степная осенняя тишина. Мрак подходил быстро, сплошной, черный. В небесной тверди загорались звезды. Шел бодро,

ровно, пустынным степным проселком. Первый раз в жизни шел так легко, без всего, неизвестно куда и зачем. Где-то очень далеко на сектантских хуторах лаяли собаки. Стали тьма и ночь, осенняя, безмолвная, в твердом морозце.

Двенадцать верст прошел бодро, незаметно, а потом остановился на минуту—перевязать шнурок у ботинок—и вдруг почувствовал безмерную усталость, заломило ноги—за день избрил уже верст сорок. Впереди лежало село Махмытка,—в юности, студентом, ездил сюда, к солдатке, тайком,—теперь не пойдет к ней—никогда, ни за что, раба! Деревня лежала приплюснутая к земле, заваленная огромными скирдами соломы, пахнувшая хлебом и навозом. Встретили лаем собаки, темными шарами выкатились за околицу, к ногам, целая стая.

Прошел мордовский поселок и на русской стороне постучал в окошко, в первую избу, за окном горела-тлела лучина. Отозвались не скоро.

— Кто тама?

— Пустите, люди добрые, ночевать.

— А кто такой?

— Прохожий.

— Ну, сичас.

Вышел мужик, в розовых портах, босиком, с лучиною осветил, осмотрел.

— Хнязь? Ваше сиятельство! Домудровалси?.. Иди, што ли!

На полу настлали соломы, огромную вязанку, трещал сверчок, пахло копотью и навозом.

— Ложись, хнязь. Спи с богом!

Мужик влез на печку, вздохнул, что-то зашептала баба, буркнул мужик, потом сказал громко:

— Хнязь! Ты спи, а утром уходи до света, чтобы не видали. Сам знаешь, время смутная, а ты—барин. Барин кончат надо!

Трещал сверчок. В углу хрюкали поросята. Лег, не раздеваясь, шляпу положил под голову, сейчас же поймав на шее таракана. В глухой степи, засыпанная хлебом, соломенная, в соломенных скирдах, с избами, проеденными вшами, клопами, блохами, чесоточным клещом, тараканами, прокопченными, вонючими, где живут вместе люди, телята и свиньи,—лежал на соломе князь Ордынин (теперь уже мертвец!), ворочался от блох и думал о том, что сейчас в смрадном тепле, изнеможенный—он испытывает истинное счастье. Подошел поросенок, обнюхал и ушел. В окно смотрела низкая, ясная звезда,—бесконечен мир! Пели на деревне песни.

Как заснул,—не заметил. На рассвете разбудила баба, вывела на зады. Рассвет был синий, холодный, на траву сел сизый заморозок. Пошел быстро, размахивая тростью, с поднятым воротником пальто. Небо было удивительно глубоким и синим, на станции „Разъезд Мар“ вместе с мешочниками и мешками с мукою князь втиснулся в теплушку, и там, прижатый к стене, измазанный белой мукой,—поехал...

Отрывок второй.

Иван Колотуров, председатель, двадцать лет ковырял свои две души, поднимался всегда до зари и делал—копал, боронявал, молотил, стругал, чинил,—делал своими руками, огромными, негнушимися, корявыми. Поднявшись утром, заправлялся картошкой и хлебом и шел из избы, чтобы делать что-либо с деревом, камнем, железом, землею, скотом. Был он работающ, честен, рассудителен. Еще в пятом году (ехал со станции, посадил человека в мастерской куртке) рассказали ему, что перед богом все равны, что земля—ихняя, мужицкая, что помещики землю украли, что придет время, когда надо будет взяться за

дело. Иван Колотуров плохо понял, что надо будет делать, но когда пришла революция, докатилась до степи, — он первый поднялся, чтобы — делать. И почувал тоску. Он хотел делать все честно, он умел делать только руками — копать, пахать, чинить. Его избрали в волостной комитет, — он привык вставать до зари и сейчас же приступать к работе, — теперь до десяти он должен был ничего не делать, в десять он шел в комитет, где с величайшим трудом подписывал бумаги, — но это не было делом: бумаги присылались и отсылались без его воли, он их не понимал, он только подписывал. Он хотел делать. Весной он ушел домой пахать. Осенью его выбрали председателем бедного комитета, он поселился в княжеской экономии, надел братнину солдатскую шинель, подпоясался револьвером.

Вечером он заходил домой, баба встретила сумрачно, махала локтями, делала мурцовку. На печи сидели ребята, лучина чадила.

— Поди уж и жрать с нами не будешь после барских харчей! Барин иседелался!

Промолчал. Сидел на коннике, под образами, как гость.

— Посмотри, с кем путаешься? Одни враги собрались. Одни разъединные вражники.

— Молчи, дура. Не понимаешь, и молчи!

— От меня стыдиси, хорониши!

— Идем вместе жить!

— Не пойду!

— Дура!

— Лаиться уж научилси!.. Жри мурцовку-то! Али уж отучился на барской свинине-те?

Правда, уже наелся, и угадала — свинины. Засопел.

— Дура и есть!

Приходил, чтобы поговорить о хозяйстве, потолковать. Ушел ни с чем. Баба уколола в больное место —

все почетные мужики стали сторониться, собрались в комитете одни, которым терять нечего. Прошел селом, парком, на конном дворе был свет, зашел поглядеть — собрались парни и играли в три листика, курили, — постоял, — сказал хмуро:

— Не дело, ребята, затеяли. Подпалите!

— Ну-к-что ж! Какой ты до чужого добра защитник!

— Не чужое, а наше!

Повернулся, пошел. В спину крикнули:

— Дядя Иван! Ключ от винокурного погреба у тебя?!

Там, гли, спирт есть! Не дашь — сломаем!

В доме было темно, безмолвно, в гостиной жил еще князь. Большие комнаты были непривычны, страшны. Зашел в канцелярию (бывшую столовую), зажег лампу. Заботился все время о чистоте, — на полу лежали ошметки грязи от сапог: никак не мог постичь, — почему господские сапоги не оставляют за собой следов? — Стал на колени и собирал с пола грязь, выкинул за окно, принес щетку, подмел. Делать было нечего. Пошел в кухню, лег не раздеваясь на лавку, долго не мог уснуть.

Утром проснулся, когда все еще спали, ходил по усадьбе. На конном дворе парни еще играли в три листика: — „иду под тебя и крою!“.

— Что не спишь?

— Уж проспалси!

Разбудил скотниц. Скотник Семен вышел наружу, стоял, почесывался, крепко выругался, недовольный, что разбудили, сказал:

— Не в свое дело не суйси! Сам знаю, когда будить!

Рассвет был синий, ясный, морозный. В гостиной появился свет; видел, как князь вышел через террасу, ушел в степь.

В десять сел в канцелярии, занимался мучительнейшим делом — и бесполезнейшим по его мнению, — со-

ставлял опись всей имеющейся у каждого мужика пшеницы и ржи,—бессмысленной потому, что знал наизусть, сколько чего у каждого мужика, как и все знали на селе, мучительной потому, что надо было очень много писать. Позвонили по телефону из города, приказали выселить князя. Целый час писал на машинке приказание князю.

Вечером князь ушел. Стали перетаскивать, переставлять вещи, оторвали фанеру у письменного стола. Хотели переставить часы в канцелярию, но кто-то заметил, что у них только одна стрелка,—никто не знал, что у старинных кувалдинских часов и должна быть только одна стрелка, показывающая каждые пять минут, верно потому, что в старину не жалели минут,—кто-то заметил, что часы вынимаются из футляра, и Иван Колотуров распорядился:

— Вынай часы из ящика! Скажи столяру, чтобы полки приделал. Будет шкаф для канцелярии... Да ногами-то, ногами-то не боцайте!

Вечером приезжала баба. На селе было событие: прошлую ночь изнасиловали девуку,—неизвестно кто—то ли свои, то ли московские, приехавшие за мукой. Баба свалила на комитетских. Баба стояла под окнами и срамила во всю глотку,—Иван Колотуров ее прогнал, дал по уху. Баба ушла с воем.

Было уже совсем темно, в доме застыла тишина, на дворе скотницы орали песни. Прошел в кабинет, посидел на диване, попробовал его доброту и мягкость, наткнулся на забытый электрический фонарик, поиграл им, осветил стены и увидел в гостиной на полу часы, поразмышлял—куда бы их деть?—отнес и бросил в нужник. В другом конце дома, ватагой, ввалились парни, кто-то задубасил по рояли, Ивану Колотурову хотелось их прогнать, чтобы не чинили беспорядка,—не посмел. Вдруг очень жалко стало самого себя и бабу, захотелось домой, на печку.

Ударили в колокол к ужину. Тайком пробрался в спиртовой погреб, налил кружку, выпил, успел запереть погреб, но до дома не дошел, свалился в парке, долго лежал, пытаюсь подняться, о чем-то все хотел рассказать и объяснить, но заснул. Ночь шла черная, черствая, осенняя,—шла над пустыми полями, холодными и мертвыми.

И помещичье Поречье, Поречье анархистов, Поречье Ивана Колотурова—погибли потому, что Поречье было мертво. Потому что и у первых, и у вторых, и у третьего (разве не было у Ивана Колотурова всяческих прав?!—были, конечно, ибо все это—его)—и у первых, и у вторых, и у третьего—не было самого первого: воли действовать, творить, ибо творчество всегда разрушает.

И—

— Часть третья триптиха, самая темная.

Холодные сумерки настилают землю,—те осенние сумерки, когда небо снежно и зимне, и облака к рассвету должны рассыпаться снегом. Земля безмолвна и черна. Степь. Чернозем. Чем дальше в степь, тем выше скирды, тем ниже избы, тем реже поселки. Из степи—по ограбленной пустыне—из черной щели между небом и степью—дует зимний ветер. Шелестит в степи чуть слышно былье после скошенных трав, ржей и пшениц. Вскоре поднимается стеклянная луна. Если поволокуются тучи, будет снег, а не изморозь.—Хлеб.

У переезда долго стоят волы. Шеи волов опущены, волы стоят покорно, покорно глядят в степь; степные

жители. Поезд ползет мимо, дальше. В поселке нет церкви, высится убогая мечеть. Степь. Поезд ползет медленно — бурые теплушки, обсыпанные людьми, как эти люди — вшами. Поезд безмолвен: люди, повисшие на крышах, на подножках, на буферах. — А у маленькой станции „Разъезд Мар“, где никогда не останавливаются поезда и не меняют даже жезлов, поезд гудит — человеческим гудом: от крыши к крыше к паровозу вопят люди что-то страшноватое, о чем-то, в этих холодных сумерках. И „гаврила“ останавливает поезд. Молодой дежурный в фуражке с красным околышем — от тоски — встречает поезд на платформе. Люди с поезда стремятся к лужам за водой. Поезд гудит, как улей, гудит, дергается, скрипя, как рыдван, и на шпалах остается баба с глазами иступленными в боли. Баба бежит за поездом и иступленно кричит:

— Митя, каса-атик! Накорми моих детей!

Затем, помахивая своим узелочком, баба бежит куда-то за шпалы, воя и взвизгивая по-собачьи. Впереди пустая степная даль, — баба поворачивает и бежит к станции, к дежурному, что все еще стоит на платформе от тоски и в тоске. Баба смотрит на дежурного затравленно, губы ее дергаются, и глаза наполнены болью.

— Что тебе? — говорит дежурный.

Баба молчит, вскрикивает в схватке и, воя, снова бежит куда-то в сторону, поматывая своим узелочком. Сторож, старик-татарин, говорит хмуро:

— Бабу родить пришло. Баба родит деча. — Эй, баба! — иди суды!.. Русский баба — как кошка, — и старик ведет бабу в станционную избу, в свою каморку, где на нарах валяются прогнивший сеник и тулуп. Баба, войстину как кошка, бросается на нары и шепчет злобно:

— Уйди, ахальник, — уйди! Женщину позови...

Но женщины на станции нет.

Дежурный идет по платформе из конца в конец, смотрит в темную степь и думает злобно: — Азия!

Степь пуста и безмолвна. В небе идет стеклянная маленькая луна. Ветер шелестит черство и холодно. Дежурный долго бродит по платформе, затем идет в контору. За стеной воеет баба. Дежурный звонит на соседнюю станцию и говорит, как говорят все российские дежурные:

— Ахмытовааа! Прими пятьдесят восьмооой. Какой-нибудь идеоот?

Но не шло никакого. Дежурный сидит на жестком казенном диване, листает „Пробуждение“, перелистанное тысячу раз, и ложится, чтобы не сидеть. — Старик вносит лампу. — Дежурный сладко спит.

После дежурства дежурный идет домой на село. „Разъезд Мар“, на котором никогда не останавливаются поезда и не меняют даже жезлов, сразу исчезает во мраке. Кругом пустота и степь. Дежурный идет мимо мара: степной курган высится мертво и безмолвно, — кто, когда, какие кочевники насыпали его здесь, и что он хранит? — жухлый ковыль шелестит у кургана. Чернозем на проселках утрамбовался, как асфальт, и гудит под ногами.

Село безмолвно, лишь лают собаки. Дежурный проходит татарской слободой, спускается в овраг, где поселилась мордва, поднимается на косогор. В избе солдатка ставит на стол кашу, свиное сало, молоко. Дежурный наскоро ест, переодевается понаряднее и идет к учительнице в гости.

У учительницы дежурный вставляет в светец за лучиной лучину и говорит тоскливо:

— Азия. Не страна, а Азия. Татары, мордва. Нищета. Не страна, а Азия.

И дежурный думает о своей нищете.

Учительница стоит у печки, кутаясь в пуховой платок, уже стареющая. Потом учительница греет самовар и готовит ржаной кофе...

Поздно ночью дежурный ложится спать у себя в избе, у солдатки. Скрипит постель, дренькает гитара. Трещит сверчок, в углу за печкой хрюкает поросенок. Солдатка убирает со стола, выходит наружу. За тонкой глиняной стеной слышно, как она испражняется и отгоняет собаку, спешащую съесть ее помет. Дежурный слушает и думает о необыкновенных вещах; о богатстве, о красивых, нарядных женщинах, о модном платье, о винах, весельи, роскоши, которые придут к нему... Солдатка долго молится, шепчет молитвы. Тухнет свет, и солдатка босыми ногами по земляному полу, почесываясь, идет в постель дежурного.

По степи идет ночь. Черство шелестит былье скошенных трав. У мара звенит ковыль. Микроскопической станции „Разъезд Мар“ не видно в степи.

А поезд № пятьдесят седьмой-смешанный ползет по черной степи.

Люди, человеческие ноги, руки, головы, животы, спины, человеческий навоз,—люди, обсыпанные вшами, как этими людьми теплушки. Люди, собравшиеся здесь и отстоявшие право ехать с величайшими кулачными усилиями, ибо там, в голодных губерниях, на каждой станции к теплушкам бросались десятки голодных людей и через головы, шеи, спины, ноги, по людям лезли во внутрь,—их били, они били, срывая, сбрасывая уже едущих, и побоище продолжалось до тех пор, пока не трогался поезд, увозя тех, кто застрял,—а эти, вновь влезшие, готовились к новой драке на новой станции. Люди едут неделями. Все

эти люди давно уже потеряли различие между ночью и днем, между грязью и чистотой, и научились спать сидя, стоя, вися. В теплушке вдоль и поперек в несколько ярусов настланы нары, и на нарах, под нарами, на полу, на полках, во всех щелях, сидя, стоя, лежа, притихли люди,—чтобы шуметь на станции. Воздух в теплушке изгажен человеческими желудками и махоркой. Ночью в теплушке темно, двери и люки закрыты. В теплушке холодно, в щели дует ветер. Кто-то хрипит, кто-то чешется, теплушка скрипит, как старый рыдван. Двигаться в теплушке нельзя, ибо ноги одного лежат на груди другого, а третий заснул над ними, и его ноги стали у шеи первого. И все же—двигаются... Человек, у которого, должно быть, изъедены легкие, инстинктивно жметя к двери, и около него, отодвинув дверь, люди, мужчины и женщины, отправляют свои естественные потребности, свисая над ползущими шпалами или приседая,—человек изучил во всех подробностях, как это делают,—все по-разному.

У человека, сгорающего последним румянцем чахотки, странны и спутанны ощущения. Мысли о стоицизме и честности, маленькая его комнатка, его брошюры и книги, голод,—все отлетело куда-то к чорту. После многих бессонных ночей, мысли, точно у лихорадочного, дифференцировались, и человек чувствовал, как его „я“ двоится, троится, как правая рука живет и думает по-своему, самостоятельно, и спорит о чем-то с раздвоенным „я“. Дни, ночи, теплушки, станционные поселки, третьи классы, подножки, крыши—все смешалось, спуталось, и человеку хочется упасть и спать безмерно сладко—пусть по нему ходят, пусть на него плюнули, пусть сыплются на него вши. Стоицизм, брошюры о социализме и чахотке и книги о боге,—человек думает о новом, необыкновенном братстве,—упасть, подкошенному сном, прижаться к человеку—кто он? почему он? сифилитик? сыпнотифозный?—греть

его и греться человеческим его телесным теплом.. Гудки, свистки, звонки.. Мозг кажется вываленным в пуху, и, потому, что пух всегда жарок и зноен, мысли знойны, необыкновенны, неотступны и страстны, на границе лихорадочного небытия... Качается, качается в мозгу перекадина у дверей, скрипят двери, и женщины, женщины свешиваются, приседают над ползущими шпалами. Пол!..

Вчера на маленькой станции к вагону подошла баба. У дверей стоял солдат.

— Касатик, пусти Христа ради! Никак не сядем, вишь, касатик, — сказала баба.

— Некуда, тетка! И не моги. Никаких местов!—ответил солдат.

— Христом богом...

— А чем уплотишь?

— Уж как-нибудь...

— А в лоботу играешь?

— Да уж как-нибудь... столкуимси...

— Ага! Ну, полезай под нары. Там наша шинеля лежит. Эй, Семен, прими бабу!

Солдат уполз под нары, люди столпились кругом, и сердце человека сщемила безмерно сладкою болью, звериным, — хотелось кричать, бить, броситься к первой женщине, быть сильным безмерно и жестоким, и здесь, при людях, насиловать, насиловать, насиловать! Мысль, благородство, стыд, стоицизм—к чорту! Зверь!

Качается, качается в мозгу перекадина... Женщины, женщины, женщины... До боли четко двойтся „я“, и сердце нудно спорит о чем-то с грудью... Скрипит, покачивается, ползет теплушка.

Человек засыпает стоя и падает, подкошенным сном, кому-то под ноги. Кто-то валится на него. Человек спит сладко, глухо, как камень. Теплушка глухо спит... Станция,

свистки, толчки... Человек на минуту просыпается. Голова человека—„я“ человеческое удвоено, утроено, удесятерено!—его голова лежит на женском голом животе, едко пахнет триметиламином, мысли толпятся, как пестрые бабы на базаре,—мысли летят к чорту!—зверь! инстинкт!—и человек целует, целует, целует голый женский живот страстно, больно,—кто она? откуда она?—Баба медленно просыпается, чешется, говорит сонно:

— Кончь, ахальник... Ишь, приловчился!..—И—и начинает неровно дышать...

Степь. Пустота. Бескрайность. Мрак. Холод.

На станции, где поезд повстречался с рассветом, люди бегут за водой к пустым колодцам и к лужам, жгут костры, чтобы согреться и варить картошку,—и в опустевшей теплушке заметили мертвеца: вчера старик мучился в сыпном тифе, теперь старик мертв. Серая рассветная муть. Из черных щелей степных горизонтов идет ветер, холодный и злой. Облака низки,—пойдет снег. Шпалы, теплушки, люди. Горят костры красными огнями, пахнет дымом. У костров, где варится картошка—пока варится картошка—люди снимают с себя рубашки, кофты, штаны, юбки, стряхивают в огонь вшей и дают гнид. Люди едут неделями—в степь! за хлебом!—нету хлеба, нету соли. Люди жадно едят картошку. Поезд остановился и будет стоять сутки, двое суток... На рассвете сотнями люди разбредаются по окрестным деревням, и в деревнях (чем дальше в степь, тем ниже избы, тем выше скирды), разбившись малыми кучками, люди молят Христа ради. Бабы стоят под окнами, кланяются и поют:

— Подайте минииилостыньку Христааа раааади!

Поезд будет стоять сутки, двое суток. Теплушечные старосты идут к дежурному, от дежурного в чрезвычайку. Здесь были белые,—станция: —теплушка, снятая с колес, теплушки, поставленные в ряд, с проломанными щелями

вместо дверей. В конторе — темной теплушке — дымит лягушка, пахнет сургучом, жужжат провода и люди.

Человек шепчет дежурному.

— Н-не могу-с!—говорит дежурный довольным басом.— Полный состав. Сто пятьдесят осей, семьдесят пять вагонов. Н-не могу-с!..

Человек гладит своим обшлагом обшлаг дежурного и сует пачку.

— Товарищи! — н-не могу! Я беру только в тех случаях, когда могу помочь, но в данном случае — семьдесят пять вагонов, сто пятьдесят осей. Н-не могу-с!..

Гладить обшлаг обшлагом — стало быть, предложить „подмазать“...

Но оказывается — дежурный мог. К вечеру приходит новый поезд, новые сотни жгут костры и дают вшей, — и этот поезд ночью ушел первым. Люди бегут к дежурному, дежурного нет, — новый дежурный (это было, — сторожа успокаивали: — нету-ти его, слышь... Его, слышь, на той неделе семь разов били...) ...Люди бегут в чрезвычайку, — но к ночи пришел отряд продармейцев, и по вагонам идет обыск.

Продармеец влезает в притихшую теплушку.

— Ну, которые? Што?

Старик на нарах снимает фуражку и пускает ее по рукам.

— Складайся, братцы, по два с полтинником!..

Новым рассветом поезд уходит.

На платформе появляется дежурный, и поезд тысячей глоток прощается:

— Своооолаач! Взаяяаатоошнииик!..

Поезд идет так, что можно слезть и итти рядом. Степь. Пустота. Холод. Голод. Днем над степью поднимается сонное солнце. В осенней тишине летают над ограбленными полями вороньи стаи — тоскливые стаи. Курятся избы редких селений синим соломенным дымком, — тоскливые избы.

Ночью падает снег, земля встречает утро зимою, но вместе со снегом идет тепло, и опять осень. Идет дождь, плачет земля, обдуваемая холодным ветром, закутанная мокрым небом. Серыми клочьями лежит снег. Серой фатой стала изморозь.

В селе Старый Курдюм, разметавшемся по вертепежинам у степного ручья точно мушиные пятна, никто не знает, что вон там, у горизонта, полегла — Азия.

В селе Старый Курдюм, на русской стороне, на татарской и мордовской — перед избами в амбарушках и за избами в скирдах, на гумнах — лежат пшеницы, ржи, проса, жито — хлеб. С хлебом убрались, теперь отдых, покой.

В этот день на рассвете в селе Старый Курдюм, на русской стороне топят бани. Бани — землянки — стоят по ручью. Босые девки таскают воду, в избе хозяин разводит золу, собирает тряпье, и все идут париться — старики, мужики, деверья, сыновья, ребята, матери, жены, снохи, девки, все вместе. В бане нет труб, — в углекислоте, в паре, в красных отсветах, в тесноте толкаются белые человеческие тела, моются все одним и тем же щелоком, спины трет всем хозяин, и окупываться бегают все на ручей, в серой рассветной изморози. По лощинам у ручья лежит снег.

А на татарской стороне, за ручьем, где мечеть, в этот час, после пятницы, татары, разостлав свои коврики, молятся на восток, невидимому солнцу, потом, вымыв руки и ноги, в чулках и тюбетейках идут в круглую збу, устланную коврами и подушками, садятся среди збы, на пол, и едят барана, чавкая, руками, по которым чет сало. Глаза у барана съедает старик. Женщины, которым, кажется, не полагается есть и молиться, стоят сзади мужчин с кувшинами воды.

И в этот час в село Старый Курдюм приходит артель, что поехали за хлебом.

У околицы, у долгой верехи колодца, стоит тесной кучей мордва, бабы в рогах, с ногами как бревна, и маленькнне мужичонки, с мочальными бородками, в шляпах как глиняный таз и в рубашках ниже колен, подпоясанных на груди и с чесмышками у пояса: — дикий народец еще более безмолвен, чем древние сфинксы. Мужичонко, кривляясь, приседая, бежит к пришедшим, снимает шляпу, улыбается бледно, щурится, шепчет:

— Дзеребрены дзеньги давай!.. дзеньги... Роз дам, псинису дам!.. Дзеребрены дзеньги!—и бежит обратно к своим.

Его сменяет баба в рогах и с ногами, как бревна.

— Дзеребрены дзеньги давай! Роз дам, псинису дам!—говорит баба, улыбается и бежит обратно, щуря глаза, похожие на подсолнечные семечки и тусклые, как потертая солдатская пуговица (Китай-город?!).

В вертепезине из ближней бани выскакивает голая девка с разметавшимися волосами, бежит очумело к ручью, оттуда к избе и обратно в баню. С той стороны из-за ручья мчатся татары, верхом, болтая ногами, сопровождаемые татарчатами и собачьим лаем. Татары окружают пришедших, болтают ногами, сдерживая лошадей, протягивают руки для пожатья. Один кричит, плутовато ухмыляясь:

— Купи минэ! Я—совет, камитет, камисар! купи минэ! Сто рубля! Голодна, товар меням!—и хитро улыбается.— Иди минэ! Баран жарим! Я—совет! велю—продам, не велю—не продам!.. Не ходи в шабры!

Серыми ключьями лежит снег, серой фатой стала изморозь, и не видно бескрайних степных окраин. В селе Старый Курдюм никто не знает, что вон там, за небесным закроем—Азия. Баба, вон та, что приехала с голодающими, думает: „Рожь, ежели на мелестин, при случае по десять рублей обойдется, а на деньги—сто... Тик так же, ситец, сарпинка—с чернотой, для старух... Бумазея“...

Двое со свертками под мышками идут по улице. У колодца стоит баба. Один из двоих таинственно подходит к бабе, таинственно говорит:

— Хозяюшка, муку на товар не меняешь?

— А какой товар-от?

— Манухфактура все-таки. Мелестин, сарпинка... Разный товар.

— Ну, погодь... В какой дом поманю, зайдитя!

Манит. Идут. Стучаются лбами о притолку—входят в избу. В избе в пол-избы печь, на зечи древняя старуха и полдюжины ржаных ребят, в углу свинья, в красном углу—хозяин, образа, генерал и царская фамилия.

Крестятся. Кланяются. Жмут по очереди хозяину и всем домохозянам руки. И просят есть,—и едят, молча, жадно, поспешно—свиное сало, свинину, баранину, кашу, похлебку, хлеб, опять свиное сало, опять баранину. Хозяин в красном углу сидит молча, молча наблюдает,—глаза хозяина урасли в бороду.

Хозяин говорит снохе:

— Дунька, изготвь баня!

Идут мыться, и, когда парятся, Дунька подтаскивает им воды.

Когда гости возвращаются, хозяин говорит Дуньке:

— Дунька, становь чимодур!

И гостям:

— Ну, какой ваш товар-от? покажь!

Гости раскладывают свой товар. Хозяин поглядывает хозяйственным взглядом, молчит. Бабы, и свои, и набившиеся в избу, прилипли к товару, как к меду. Какую-то красную тряпку гость прикладывает к хозяйке, тыкает хозяйку в бок и говорит игриво:

— Хозяин, гляди! На двадцать годов помолодела,—моложе молодухи!—Хозяйка! лезь скорее на печь, пряхься от хозяина!

— Отста-а-ань! озарь!—баба расплывается в блин.

А гость, кривляясь, обкручивает какой-то брючный шевёт вокруг ноги, сует всем свое колено и похвально. Бабы отбирают нужное и ненужное. Другой гость говорит с хозяином—об урожае, о войне, о голоде, о том, как в Москве, у московских, у каждого—сколько хочешь мелестину, мадеполаму, машин и ситцу, и как в Москве на улицах падают с голоду замертво.

Подают чай. Все пьют с пятерен, дуют, молчат. Не обманешь—не продашь. Когда выпито по полдюжине стаканов, хозяин, подбоченясь и хмуро, спрашивает:

— Ну, а кака цена-т-от?

Бабы отодвигаются к двери, с лицами наивно-безразличными и затаенно-испуганными,—в дело вошел велед.

— Ваш товар—наши деньги,—откликается поспешно гость.—Мы на муку.

— Известно, на муку! Мука-то у нас теперича шестьдесят два пуд ходит.

Лицо гостя искажается в боли и обиде, гость причитает по-бабьи:

— А-а!.. Вы свой товар цените, а наш нет?.. А-а... А цену кто набил?..—все мы?.. Мы с голоду на улицах подышаем, а вы с нас последнюю шкуру содрать хотите!.. А-а!.. Кто цену набил?..—кто цену набил?!—все мы!..

— Хозяйка, налей ишшо цаю,—говорит сурово хозяин.

Снова пьют с пятерен, снова торгуются. Опять пьют чай и опять торгуются. Бабы стоят у дверей, покорно молчат. Старуха с печи десятый раз спрашивает:—кто пришел?..—К девкам в сенцах уже прилипли парни, обегавшие все село. Хрюкает поросенок. Под печкой квекают молодые петухи.

Наконец хозяин и гости хлопают по рукам: весь товар—чохом—три аршина—пуд. Хозяин доволен, потому что надул гостей. Гости довольны, потому что надули

хозяина. Хозяин еще раз кормит гостей—щами со свиной, пшеничными блинами со сметаной и маслом, кашей с бараньим салом,—и ведет в трактир распить самогону. Варяжские времена!

У трактира на жерди мотается сиротливо в сером ветре клоч сена. Лают по селу собаки. На татарской стороне, где гостям мыли ноги и кормили их на полу, от избы до избы за покупателями тащатся толпы. Тесной кучкой без детей стоит безжизненная мордва. За околицами лежит степь—без конца, без края. Дует из степи холодный ветер, идет дождь и плачет земля. В трактире мужики пьют самогон, горланят, и, подвыпившие, идут к татарину-комиссару заплатить ему тырте и воргасе, чтобы наче отвезти извещеванную рожь на полустанок: рожь повезут ночью, с нарядом дрекольева.

В селе Старый Курдюм по несколько раз были красные и белые, целые переулки лежат сожженными и разграбленными. В селе Старый Курдюм живут люди, засыпанные хлебом, со свиньями и телятами, которых кормят тоже хлебом; живут с лучиной, лучину зажигают кремнем; живут полунагие... По степи широкими волнами идет разбей и контр-революция, полыхая далекими ночными заревами, гудя набатом... В селе Старый Курдюм нет молодых мужчин; одни ушли в революцию, другие ушли с белыми.

Сумерки. Серыми сумерками солдатка в тридцать лет (сладко ночами целовать такую солдатку!) останавливает человека, сгорающего последним румянцем чахотки, манит его и шепчет:

— Иди ко мне, парень. Никого обратно нетути. Хлеба дам. Баня топицы.

И в бане, в красных отсветах, человек видит: на животе женщины и в пахах высыпала ровная мраморноватая холодная—сифилитическая—сыпь.

В сумерках кричит что-то истощенное на мечети муэдзин, такой же мужик. В сумерках татары молятся, разостлав свои коврики, устремляя взоры к востоку, к невидимой Азии.

Пролетает последнее черное ожерелье вроньей свадьбы — тоскливой свадьбы.

И обратно по пустой степи ползет поезд № пятьдесят седьмой-смешанный, нагруженный людьми и хлебом.

А „Разъезд Мар“, где раньше не меняли даже жезлов, строит феерическую карьеру: мечты молодого дежурного сбываются. На „Разъезде Мар“ стал заградительный отряд, внутренняя пошлина. Теперь поезда здесь стоят сутками. И днем и ночью горят костры и вокруг станции толпы народа. В колодце и в лужах нет уже ни капли воды. И за водой бегают за две версты, на речку. Нельзя пройти двух шагов, чтобы не угодить в человеческий помет. Санитарные теплушки забиты больными. От продовольственного поезда, где строго торчат пулеметы, несутся веселые песни, гремит десяток гармоник. Кругом стон, вопль, плач, мольбы, проклятья. Дежурный с начальником отряда говорит коротко, двумя словами, — дежурный хорошо знает, что такое погладить обшлаг обшлагом, — дежурный может отправить поезд через десять минут и может держать его сутки, — дежурный может принять и отправить поезд ночью, когда заградители „не работают за отсутствием света“, — и у дежурного — женщины, вино, деньги, новые платья, отличный табак, конфеты Эйнема и Сиу, — дежурный говорит, как полководец, двумя словами, и ему некогда уже, томясь, бродить по платформе.

Ограбленной черной степью ползет поезд № пятьдесят седьмой-смешанный, забитый людьми, мукой и грязью... Падает, падает в пустыню ночи мокрый снег, кружит ветер, дребезжат теплушки. Ночь. Мрак. Холод. И еще задолго в черной бездне вспыхивают красные огни костров на „Разъезде Мар“, — страшные, как горячее марево. В теплушках, где люди сидят и стоят на людях, не спит никто, теплушки глухо молчат. Поезд останавливается медленно, глухо, скрипят колеса. Горят костры, у костров в снегу жмутся люди и валяются мешки. Станционная изба безмолвна. Во мраке, в кучку, со своими двадцатками, собираются теплушечные старосты поезда № пятьдесят седьмой-смешанный. Снег. Ветер. Двое уходят, приходят. На минуту у станционной избы появляются дежурный, говорит, как полководец.

Тишина

Шопот.

И по теплушкам бегут поспешно старосты.

В теплушке мрак. Староста задвигает за собою дверь.

В теплушке безмолвие.

— Што? — спрашивает кто-то хрипло.

Староста дышит поспешно и, кажется, радостно.

— Бабоньки, девоньки, — к вам! — говорит староста поспешным шопотом. — Велел девок да баб, которые получше, посылать к им, к армейцам, — сам, говорит, ничего не могу...

И в теплушке безмолвие, лишь дышит староста.

— Девоньки, бабоньки, — а?

Тишина.

— Надо бабам иттить! Ничего не поделаешь! — говорит кто-то хмуро. — Хлеб, хлеб везем!

И опять безмолвие.

— Что же, Манюшь, — пойдем... — голос звучит, как лопнувшая струна.

Из теплушек, во мраке, в снег, вылезают сторожко женщины, и за ними поспешно задвигаются двери. Женщины безмолвно, без слов, собираются кучкой. Ждут. Гудят где-то рядом провода. Подходит кто-то, всматривается, говорит шопотом:

— Собрались, — все?.. Пойдемтя.. Ничего не иде-лаешь... Хлеб. Выручайте, бабоньки—девоньки... Которые девоньки целы—вы не ходите, что-ли-ча... уж што уж...

Затем женщины долго стоят у задней теплушки продовольственного поезда, — пока не прибегает парнишка в распоясанной гимнастёрке:

— А, бабы! Натерпелися?! Бабов нам надо — по первое число! — говорит он весело. — Да вас целое стадо? Ишь! — столько не требуется, — ишь разохотились! Выбирай, бабы, десятка полтора, которые покраще. Да — мотри! — чтобы здоровы!..

Ночь. Падают, падает снег. Гудят провода. Гудит ветер. Трепещут огни костров. Ночь.

В конторе около дежурного толпятся старосты и, изменяя голоса на какой-то нелепо-сладостный и гнусно-пискливый, на перебой, корячась, угощают дежурного — дыньками, спиртиком, коньячишкой, папиросками, табачкём, ситчикём, драпцем, чайкём... Дежурный, чтобы скоротать ночь, фельдмаршальски рассказывает похабные анекдоты, и старосты гнусно-сладостно смеются, опуская стыдливо глаза.

На рассвете поезд № пятьдесят седьмой-смешанный свистит, дергается, точно срываются позвонки с позвоночного столба, и — уходит с „Разъезда Мар“.

Хлеб!..

За разъездом в степи лежит курган, по которому и назван разъезд. Когда-то около мара убили человека, и на могильном камне кто-то начертил неумелыми буквами:

„Я был, кто есть ты, —

„Но и ты будешь то, что я есть“

Бескрайнюю степь, курган, все занесло снегом, и от надписи на могильном камне остались два слова:

„Я был... — —“.

Осень, вечером под холмом в городе Ордынине вспыхнут костры: это будут голодные варить похлебку, те, что тысячами ползут в степь за хлебом, и из-под холма понесутся тоскливо песни. Та ночь, Андрей Волкович: — осыпались камни насыпи, полетели вместе с ним под обрыв (шепнул ветер падения — гвиуу), и рассыпалось все искрами глаз от падения, — и тогда осталось одно сердце. Что-то крикнул дозорный — наверху, а потом костры голодающих, шпалы, отрывок песни голодных.

— Ну, так вот. Вопрос один, — по-достоевски, — в о-проси к: — тот дежурный с „Разъезда Мара“ — не был ли Андреем Волковичем или Глебом Ордыниным? — и иначе: — Глеб Ордынин и Андрей Волкович — не были ли тем человеком, что сгорал последним румянцем чачотки? — этакими русскими нашими Иванушками-дурачками, Иванами-царевичами?

Темен этот третий отрывок триптиха!

— В книге Семена Матвеева Зилотова — в книге „Бытие разумное, или нравственное возрѣние на достоинство жизни“ есть фраза:

„Есть ли что ужаснѣе, какъ видѣть невѣрие, усиливающееся въ ту самую минуту, когда силы природы изнемогаютъ истощенныя, дабы съ презрѣниемъ взирать на страхи, одръ уми-рающихъ окружающія, и гордо завѣщать все-ленной примѣръ дерзости и нечестія?..“

БОЛЬШЕВИКИ. ГЛАВА VI

(предпоследняя, триптих второй).

Ибо последние будут первыми.

Кожаные куртки.

В доме Ордыниных, в Исполкоме (не было на окнах здесь гераней)—собирались наверху люди в кожаных куртках, большевики. Эти вот, в кожаных куртках, каждый в статью, кожаный красавец, каждый крепок, и кудри кольцом под фуражкой на затылок, у каждого крепко обняты скулы, складки у губ, движения у каждого утюжны. Из русской рыхлой, корявой народности—отбор. В кожаных куртках—не подмочишь. Так вот знаем, так вот хотим, так вот поставили—и баста. Петр Орешин, поэт, правду сказал:—„Или—воля голытьбе, или—в поле, на столбе!..“ Архип Архипов днем сидел в Исполкоме, бумаги писал, потом мотался по городу и заводу—по конференциям, по собраниям, по митингам. Бумаги писал, брови сдвигая (и была борода чуть-чуть всклокочена), перо держал топором. На собраниях говорил слова иностранные, выговаривал так:—константировать, энегрично, литефонограмма, фукцировать, буждет,—русское слово, могут—выговаривал:—ма г у т ь. В кожаной куртке, с бородой как у Пугачева.—Смешно?—и еще смешнее: просыпался Архип Архипов с зарею и от всех потихоньку:—книги зубрил, алгебру Киселева, экономическую географию Кистяков-

ского, историю России XIX века (издания Гранат), „Капитал“ Маркса, „Финансовую науку“ Озерова, „Счетоведение“ Вейдмана, самоучитель немецкого языка—и зубрил еще, составленный Гавкиным, маленький словарик иностранных слов, вошедших в русский язык.

Кожаные куртки.

Большевики. Большевики?—Да. Так.—Вот, что такое большевики!

Белые ушли в марте. И в первые же дни марта приехала из Москвы экспедиция, чтобы ознакомиться, что осталось от заводов после белых и шквалов. В экспедиции были представители—и ОТК, и ХМУ, и Отдела Металлов, и Гомзы, и Цепти, и Цепекапе, и Промбюро, и РКИ, и ВЦК, и проч., и проч., всё спецы,—на собрании в областном городе было установлено, как дважды два, что положение заводов более чем катастрофично, что нет ни сырья, ни инструмента, ни рабочих рук, ни топлива,—и заводы пустить нельзя. Нельзя. Я, автор, был участником этой экспедиции, начальником экспедиции был ц-х К., по отчеству Лукич. Когда по поезду был дан приказ готовиться к отъезду (а были в поезде мы отрядом с винтовками), я, автор, думал, что мы поедем обратно в Москву, раз ничего нельзя сделать. Но мы поехали—на заводы, ибо нет такого, чего нельзя сделать,—ибо нельзя не сделать. Поехали, потому что не спец большевик К., Лукич, очень просто рассудил, что, если бы было сделано, тогда и не надо делать, а руки—все сделают.

Большевики.

Кожаные куртки.

„Энегрично фукцировать“. Вот что такое большевики И—чорт с вами со всеми,—слышите ли вы, лимонад кислый-сладкий!?

Шахта номер 3, на Таежевском заводе. На глубине 320, т.-е. три четверти версты под землю, палили бурки: бурильщики бурили, по пояс в воде, как кипяток — в стволе пласты, бурили бурки; запальщики заряжали бурки динамитом и палили бурки в глубине 320, в воде, как кипяток, по грудь. Надо было запальщикам нащупать в воде шпур, бурку, запихнуть, нырнув, патроны, подложить под патрон пистон с гремучею ртутью и с гуттаперчевым фитилем — зажечь эти патроны, пятнадцать, двадцать. —

Сигнал кверху:

— Готовы?

Сигнал вниз:

— Готовы.

Сигнал кверху:

— Палю.

Сигнал вниз:

— Пали с богом!

Один за другим вспыхивают фитили, один за другим шипят и свищут синие огоньки над водою и ныряют в гуттаперчевую трубку, под воду. Последний огонек синий свистнул и нырнул. —

Скачок в бадью, сигнал кверху:

— Качай!

— Есть!

И бадья в дожде, во мраке, в свисте, семь сажен в секунду (предел, чтобы не умереть) мчит вверх, от смерти, к свету. И внизу рвет динамит: — первый, второй, третий.

Шахта № 3, глубина 320, бурки палили двое.

— Готовы?

— Готовы!

— Палю!

— Пали с богом!

Один кончил раньше палить, влез в бадью. Второй зажег последний фитиль (зашипели, запыряли синие огоньки), схватился за канат.

— Качай веселей!

То ли оступился второй, то ли машинист поспешил, — в дожде, во мраке, в свисте, взвилась бадья, — второй остался внизу, и последний огонек нырнул в воду.

И первый ударил сигнал кверху:

— Стоп! Качай книзу!

Бадья заметалась во мраке, повисла в дожде

— Качай книзу!

И тогда второй ударил сигнал:

— Качай кверху! — ибо зачем вторая смерть?

— Качай книзу! — это первый.

— Качай кверху! — это второй.

И бадья заметалась во мраке. Каждый жертвовал жизнью — за брата, вот тут, в глубине 320, где смерть и похороны одновременны.

Машинист, должно быть, понял, что идет в шахте. Со скоростью в смерть бросил механик бадью книзу, и со скоростью в смерть вынес механик бадью наружу, — под грохот динамита внизу, в смерти. И наверху — всем троим, механику и запальщикам, первому и второму: — захотелось — выпить! Так вот, потому, что тогда не было никакой революции, — где же было „энегично функцировать“?

Кожаные куртки. Большевики.

В доме Ордыниных, вечером, в общезитии, разувшись и пальцы после сапог руками сладко размяв, на кровать к лампочке забравшись как-то на четвереньках, Егор Собачкин долго брошюрку читал и обратился к соседу, в „Известиях“ зарывшемуся:

— А как думаешь, товарищ Макаров, жизнь людскую бытие определять или идея? Ведь, так подумать, и в идее-то бытие?

Китай-Город.

Ночью в Москве, в Китай-Городе, за китайской стеной, в каменных закоулках, в подворотнях, в газовых фонарях—каменная пустыня. Днем Китай-Город за китайской стеной ворочался миллионом людей в котелках и всяческими миллионами вещей, капиталов, сметок, страданий, жизней—весь в котелке, сплошная Европа с портфелем. А ночью из каменных закоулков и с подворий исчезали котелки, приходили безлюдье и безмолвье, рыскали собаки, и матово горели фонари среди камней, и из Зарядья и в Зарядье шли люди, редкие, как собаки. И тогда в этой пустыне выползал из подворий, из подворотен—тот: Китай без котелка, Небесная империя, что лежит где-то на востоке за Великой Каменной стеной и смотрит на мир раскосыми глазами, похожими на пуговицы русских солдатских шинелей. Это один Китай-Город.

И второй.

В Нижнем-Новгороде, в Канавине, за Макарьем, где по Макарью величайшей задницей та же рассаживалась московская дневная Ильинка, в ноябре, после сентябрьских миллионов пудов бочек, штук, аршин, четвертей товаров, сменившихся на рубли, франки, марки, стерлинги и прочее,—после октябрьского разгула под занавес, разлившегося Волгой вин, икры, „венедий“, „европейских“, „татарских“, „китайских“ и литрами сперматозоидов,—в ноябре в Канавине, в снегу, из заколоченных рядов, из безлюдья, смотрел солдатскими пуговицами вместо глаз—тот: ночной,

московский и за каменной стеной сокрытый—Китай. Безмолвие. Неразгадка. Без котелка. Солдатские пуговицы вместо глаз.

Тот—московский—ночами, от вечера до утра. Э тот—зимами, от ноября до марта. В марте волжские воды зальют Канавино и унесут Китай на Каспий.

И третий Китай-Город.

Вот. Лощина, сосны, снег, там дальше—каменные горы, свинцовое небо, свинцовый ветер. Снег рыхл, и третий день дуют ветры:—примета знает, что ветер ест снег. Март. Не дымят трубы. Молчит домна. Молчат цеха, в цехах снег и ржа. Стальная тишина. И из прокопченных цехов, от мертвых машин в рже,—глядит: Китай, усмехається, как могут усмеяться солдатские пуговицы. Молчат фрезеры и аяксы. Гидравлический пресс не стонет своим—нач-эвак! нач-эвак!—В прокатном, на проржавевшей болванке лежит рыжий снег—разбиты стекла вверх. Турбинная не горит ночами, в котельном свистит ветер и мрак. Из литейной, у которой снарядом отбело угол, от мартена, из холодных топков—выглядывают степенно солдатские пуговицы, ушастые, без котелка.

— Там, за тысячу верст,—в Москве, огромный жернов войны и революции смолот Ильинку, и Китай выполз с Ильинки пополз...—

— Куда?!

— Дополз до Таежева?!

— Врешь! Вре-ешь! Врее-оошь!

— Белые ушли в марте, и заводу март.

Белые ушли с артиллерийским боем, все разбежались по лесам в страхе от белой чумы, лишь Красная армия,

в драных шинеленках, мелкими кучками—и тысячами— перла и перла вперед. Долго после белых в механическо-сборном в ветре на крае висел человек, зацепленный за ребра, а в шахтах по горло стояла вода, и посиневшие плавали трупы.—Мартовский ветер ревел метелями и ел снег, из мартовского снега по лощинам вокруг завода и в лесах кругом—из съеденного ветром снега—торчали человеческие руки, ноги, спины—изъеденные не ветром уже, а собаками и волками. В мартовском ветре—сиротливо в сущности—трещали пулеметы и, точно старик хлопшкой бьет мух по стенам, ахали пушки..

— Дополз до Таежева?!

— Врешь! Вре-ешь! Врее-ооошь!..

Без экивоков. Завод возжил удивительно просто, в силу экономической необходимости. Ушли белые, и из лесов после страха стали собираться рабочие, и рабочим нечего было есть. Вот и все. Власть менялась восемь раз,—у рабочих осталась одна мать—машина. На заводе не было власти,—рабочие кооперировались артелью. На заводе не было топлива, шахты были затоплены: за заводом был конный завод Ордыниных, под ипподромом шли пласты угля,—без нарядов стали рыть здесь уголь, коксовать времени не было, и чугунное литье пустили на антраците. Машины были погажены,—первой пустили инструментальную. Не было смет на деньги, чем платить рабочим,—и решили на каждого рабочего и мастера отпускать в месяц по пуду болванки, чтобы делать плуги, топоры, косы—для товарообмена. Завод—самовозродился, самовозжил.—Это ли не поэма, стократ величавее воскресения Лазаря?!—Архип Архипов и инженерик такой, вздохмаченный, в овчинной куртке и треухе, с поговоркой этакой—т а-р а-р а м (революция—т а-р а-р а м,

скандал — т а-р а-р а м, белые приходили — т а-р а-р а м, зубы болят—т а-р а-р а м, восемь властей менялось—восемь тарарамов: первый тарарам, второй, третий...),—Архип Архипов и инженерик этот метались по заводу, в цеха, на шахты, а в конторе вечером г р а н д и о з н е й ш и й проект писали—вырабатывали калибры и допуски нормализации. Веял по ветру черный дым мартена, и полыхала ночами, в завалы, домна. От цехов пошел скрежет железа, умерла стальная тишина.—Магуть „энегрочно фукцировать“!

По списку работающих заводов, имевшемуся у экспедиции по ознакомлению с тяжелой нашей индустрией, Таежево не значилось. Экспедиция заехала в Таежево случайно,—проезжала мимо ночью, не собиралась остановиться и увидела горящую домну, и остановилась, и нашла Таежево—одним из единственных...—

— Там, за тысячу верст, в Москве огромный жернов революции смолол Ильинку, и Китай выполз с Ильинки, пополз..

— Куда?!

— Дополз до Таежева?!

— Врешь! Вре-ошь! Врее-ооошь!

Днем в Москве, в Китай-Городе жонглировал котелок, во фраке и с портфелем—и ночью его сменял: Китай, Невесная империя, что лежит за Великой Каменной стеной, без котелка, с пуговицами глаз.—Так что же,—ужели Китай теперь сменит себя на котелок во фраке и с портфелем?!—не третий ли идет на смену, тот, что—

— Могёт энегрочно фукцировать!

Метель. Март.—Ах, какая метель, когда ветер ест снег! Шоояя, шо-ояя, шоооояя!.. Гвиуи,

гваау, гааау... гвиииуу, гвиииууу... Гу-ву-зз!..
Гу-ву-зз!.. Гла-вбум!.. Гла-вбумм!.. Шоояя, гвииуу,
гаауу! Гла-вбумм!! Гу-вузз! Ах, какая метель!
Как метельно!.. Как—хо-ро-шо!..

Часть третья триптиха (самая светлая).

Над обрывом, над Вологою—Кремль, с красными его, развалившимися, громоздкими стенами, кои поросли бузиной, репьями и крапивой. Последние дома, поставленные в Кремле при Николае I, каменные, большие, многооконные, белые и желтые,—хмуры и величавы своим старобытьем. Улицы Кремля замощены огромными булыжинами. Улицы идут кривые, с тупиками и закоулками, и на углах—церкви. Испепеляли Кремль многие зной, и многие годы—голые годы—исходили булыжины мостовых.

Россия. Революция. Совы кричат: по-человечьи жутко, по-зверину радостно. Сумерки. Осень. В Кремле, в башнях много сов. Сумерки в осень закрывают золотую землю, как вьюшка печную трубу. Ветер гудит в Кремле, в закоулках: гу-вууу-зии-маа!.. И шумит крышное железо старых домов:—гла-вбумм! По пустым булыжинам в сером ветре идет человек в кожаной куртке. Ветер сметает желтые листья. Человек проходит Зарядьем, где разрушены торговые ряды, выходит за кремлевский вал, где разрушена артиллерией белых стена, и там—на другом бугре—стоит больница в стройных, зеленых елочках, как святые у Нестерова. Человек этот—Архип Иванович Архипов. Ветер осенний—всё шарит, всё раздувает, и кашель от ветра осеннего. А в больнице в квартире врача Наталии Евграфовны—бревенчатые стены, пахнет смолой от стен, пол в линолеуме, широкие, по-новому, большие окна, и по линолеуму идет мутный свет дня, огромных филоден-

дронов, стола в бумагах, белых изразцов печи. Мутен день, мутны сумерки, а в комнате светло, как в комнате, и в первый раз нынче горит голландка.

— Садитесь, Архипов, сюда, на диван.

— Ничего, спасибо. Я здесь вот, у печки.

Борода у Архипова, как у Пугачева, черная, обильная, взлохмаченная,—и черны глаза.

— Слушайте, Архипов,—вы никогда не говорите об отце. Мне хочется говорить с вами об этом... Вы ведь—сын.

— Да. И мне. Грудно вырывать старое коренье. И от корней этих очень больно. Но это пройти должно. Разум говорит, так надо было умирать спозаранку,—стало, чего же мучиться? Жить надо, работать.

— Но ведь вы один—один навсегда!

— Да. Что же? Я всегда был один—я со всеми, с товарищами. Я верно только освобождаюсь—от глупостей.

Наталия Евграфовна встала от стола, встала рядом с Архиповым к печке.

— Говорите правду. Вам не страшно?

— Как же не страшно?—страшно, тошно. Только страдать—не надо. Умер старик, как надо. Я все думал в одну точку, ну, и не страдаю. Так надо.—Архипов обеими своими руками взял руку Наталии Евграфовны..—Вы, Наталия Евграфовна, лучше о себе расскажите. Вот что.

— Мне нечего рассказывать. Что же?..

— Ну, тогда я расскажу. Я все время заводом занят, в исполкоме, в революции. А когда отец умер, о себе подумал. Работать надо,—ну и работал. А то вот еще что. Я к вам пришел предложение вам сделать—руки. Парнишкой я влюблялся, ну, грешил с женщинами. А потом прошло. Я так думаю, детишки у нас будут. Работаем вместе, за-

одно. И ребяенок вырастим, как надо. Хочется мне детишек разумных, а вы—поученее меня. Ну, да и я подучиваюсь. А оба мы молодые, здоровые.—Архипов склонил голову, Наталья Евграфовна не взяла руки своей из его рук.

— Да, хорошо,—она ответила не сразу.—Но я не девушка... Дети,—да, единственное. Я не люблю вас так,—ну, знаете...

Архипов поднял голову, взглянул в глаза Наталии Евграфовны,—были они прозрачны и покойны. Архипов поднес неумело руку Наталии Евграфовны к своим губам и поцеловал тихо.

— Ну, вот. А что не девушка,—человека надо бы.

— Это все холодно будет, неуютно, Архипов.

— Как? неуютно?—не понимаю я этого слова.

Вьюшка небесная прикрыла землю, окна слились со стенами, в печи уголь подернулся пеплом,—надо печь закрывать. В столовой, где тоже бревенчатые стены, на столе в белой скатерти, сверкает холодно никкелем кофейник, поднос, подстаканники. Архипов пьет с блюдечка, с пятерен, под кожаной курткой—жилетка, и косоворотка под жилеткой. Наталья Евграфовна в красной вязаной кофточке и в черной юбке, и волосы венцом—косами. Линолеум поблескивает холодно,—за окнами мутная луна в облаках, ночь,—и отражаются мутным холодом в линолеуме луна, стены, стол вверх ногами, мрак открытой двери и темная комната. На столе же в столовой „министерская“ лампа.

— Человек нужен, чистота, разум!

Лунный свет в кабинете и полосы лунные легли на линолеум. Архипов случайно коснулся плеча Наталии Евграфовны, лунный свет упал на Наталью Евграфовну, глаза исчезли во мраке,—нежно, женски-мягко прильнула Наталья Евграфовна к Архипову, прошептала чуть слышно:

— Милый, единственный, мой...

Архипов не нашел, что ответить—в радости.

— Понимаете—жить, касатынька!

Совы кричат: по-человечески жутко, по-звериному радостно. „Ведь человек не животное, чтобы любить как животное“. Вьюшка небесная прикрыла землю. Ночь. Кремль. Кричат совы. Ветер кричит в закоулках: гу-ву-зи-маа!.. Каменные, большие, многооконные, белые и желтые дома хмуры в ночи и величавы своим старобытьем. Улицы идут кривые, с тупиками и закоулками, и улицы обулыжены, и на углах церкви. Голые годы. Мрак. Ночь. Осень. Луна ползет медленно, зеленая.

— Милый, единственный, мой!

Наталья стоит у окна в кабинете, холодно поблескивает линолеум, филодендроны разрастлись во мраке. На окно падает лунный свет. Сегодня первый раз топили печь—опотели окна. Лунный призрачный свет дробится и отражается—в слезинках на стекле и в слезинках на глазах.

— Не любить—и любить. Ах, и будет уют, и будут дети, и—труд, труд!.. Милый, единственный, мой! Не будет жи и боли

В доме Ордыниных, в общежитии, разувшись и пальцы после сапог сладко размяв, на кровати к лампочке забравшись как-то на четвереньках, Егор Собачкин долго брошюру читал и, кончив, сказал рассудительно:

— А правда и радость все-таки восторжествуют! Не может как иначе.

Архипов вошел, молча прошел к себе в комнату,—в словарику иностранных слов, вошедших в русский язык, составленном Гавкиным,—слово уют не было помещено.

— Милый, единственный, мой!

ГЛАВА VII (последняя, без названия).

Россия.
Революция.
Метель.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

ТРИПТИХ ПОСЛЕДНИЙ (материал, в сущности).

Наговоры.

К октябрю волчье прибылье не меньше уже хорошей собаки. Тишина. Треснул сук. Из оврага к порубке, где днем парни с Черных Речек пилили повинность, потянуло прелью, грибами, осенним спиртным. И это осеннее спиртное верно сказало, что дождям конец: будет неделю осень изливать золото, а потом, в заморозках, падет снег. Бабым летом, когда черствеющая земля пахнет, как спирт, едет над полями Добрыня-Златопояс-Никитич, — днем блестят его латы киноварью осин, золотом берез, синью небесной (синью, крепкою как спирт), а ночью, потускнев, латы его — как вороненая сталь, поржавевшая лесами, посыревшая туманами и все же черствая, четкая, гулкая первыми льдинками, блестящая звездами спаек. Заморозок, и все же из оврага к порубке тянет последней влагой и последним теплом. К октябрю волчье прибылье уходит от матерых, и прибылые ходят одни. Волк вышел на просеку, далеко обогнул дым от тлеющего костра, постоял меж сваленных берез и потек по косяку к полям, где зайцы топтали озимые. В черной ночи и в черной тишине не видно было за суходолами Черных Речек. На Черных Речках, в овинах девки заорали наборную и стихли сразу, послав осенним полям и лесу визгливо-грустное. Из леса, оврагом, к Николе, к Егорке шла Арина. Волк повстречался с ней у опушки и

увильнул к кустам. Арина, надо быть, видела волка — вспыхнула пара зеленых огней в кустах, — Арина не свернула, не заспешила... В избе у Егорки, черной, запахло по-осеннему, лекарными травами. Арина вздула жар в чугушке, зажгла свечу, литую из воска, с егоровой папки, — осветилась изба, ладная, большал, с лавками по всем стенам, с расписной печкой, с печи торчали пятки кривого Егорки-знахаря. Прокричал полночь петух. Кошки спрыгнули на пол. Егорка повернулся, свесил белую свою лохматую голову с печи; прокричал с просонья хрипло:

— Пришла?—Аа, пришла ведьма. Не открутисси не отворотисси, будешь моею, заколдую, ведьма.

— Ну-к, что ж, и пришла. И не пойду никогда от тебя, от косога чорта. И замучаю я тебя, и кровь я твою выпью, ведьмачкую. В смерть тебя, чорта косога, вгоню.

В сенях гудели встревоженно пчелы, неубранные еще. Тени от свечного света побежали и застыли в углах. Снова прокричал петух. Арина села на лавку, кошки пошли по полу, выгибая спины, вскочили на колени Арине. Егорка с печи соскочил—сверкнули голые ступни с пальцами, как можжевельное корье.

— Пришла?! — А-а, пришла, ведьма! Кровь выпью...

— Ну-к, что ж, и пришла, кривой чорт. Спутал, опоил.

— Сапоги снимай, на печь полезай! Раздевайси!..

Егорка у ног Арины склонился, сапоги потянул, юбки поднял, и не поправила в бесстыдстве юбок своих Арина.

— Опоил, чорт косоглазый! И сам опоился. Трав принесла, в сенях положила.

— Опоилси, опоилси!.. Никуда не уйдешь, моя будешь, никуда не уйдешь, не уйдешь, девка...

Залаяли под навесом собаки:—надо быть, мимо прошел волк. И опять прокричал петух, третьи петухи. Ночь шла в полночи.

К заморозкам на Черных Речках поуправились с полями, попрятались по избам, — мужичья жизнь замирает вместе с землей. Бабы домовничали на гумнах, и девки после летней страды, перед свадьбами огуливаясь, не уходили вечерами с гумен, ночевали в овинах, гурьбами топили земляные овинные дымные печи, орали до петухов ядреные свои сборные, — стало-быть, и парни, что днем ходили пилить дрова, вечерами тискались у овинов. Шел над полями Добрыня, метал пригоршнями по ледяной, осенней небесной тверди белые звезды (падали иные из них на черную землю), лежала земля уставшая, безмолвная, — как вороненая сталь лат Добрыни, поржавели стали лесами, звенят застезками льдинок, белеют плесенью последних туманов. Вечером девки в овине орали наборные, ребята пришли с тальянкой, девки овин заперли, ребята в овин вломились, девки завизжали, бросились по углам, забились в солому, ребята догнали, ловили, мяли, целовали, обнимали. Буро из овиновой печной ямы поблескивала зола, слепил дым, солома шуршала по-зимнему.

Чи-ви-ли, ви-ли, ви-ли,—
Каво хочешь бери!—

заиграла девка в углу походную, сдаваясь. Пошли в проходные, становились степенно в круг. Пиликнула гармонь. Девки фыркали в строгости.

Журавли вы длинноноги,
Не нашли пути дороги!—

заиграли девки.

Кроме дыма, запахло взбитой соломой, потом, овчиной. Первые на деревне прокричали петухи. Упала над землею звезда.

Алексей Семенов Князьков-Кононов догнал Ульянку Кононову в черном углу на соломе, где пахло соломой.

рожьё и мышами. Ульянка упала пряча губы. Алексей ступил коленом к ней на живот, отнимая руки, упал, ткнулись руки его в грудь Ульянки, голова Ульянки запрокинулась,—губы были мокры, солены, дыханье горячо, запахло потом горько и сладко, и пьяно.

Чи-ви-ли, ви-ли, ви-ли!..

Златопояс-Добрыня разметал по небесному льду белые звезды, в безмолвии полегла уставшая земля, спала деревня,—над рекой, с лесом по правую руку, с полями слева и на задах,—приземистая, в избах, глядящих долу слепыми, в бельмах, своими оконцами, причесанных соломенными крышами по-стариковски. Парни заночевали в соседнем, рядом с девьим, овине. Уже после вторых петухов вышел Алексей из овина. Меркнувшей свечой светил над крышей месяц, земля посолилась инеем, хрустнул под ногами ледок, деревья стояли, как костяные, и чуть приметно полз белый среди них туман. Девий овин стоял рядом, немотствовал, поблескивала солома на гумне. И сейчас же за Алексеем скрипнула воротина у девьего овина, и в лунный свет вышла Ульянка. Алексей стоял во мраке. Ульянка осмотрелась покойно кругом, расставила ноги, стала мочиться,—в осенней колкой тишине четко был слышен хруст падающей струи,—провела рукой через юбку по причинному своему месту, шагнула шаг расколякой и ушла в овин. Запели на дворах петухи, один, два, много. Первый раз почуял в этот вечер Алешка бабу, без игры.

И за два дня до Покрова, ночью выпал, первый,—на несколько часов,—снег. Земля встретила утро зимою, багряной зарей. Но вместе со снегом пришло тепло, и день посерел как старуха, был ветрен, бездомен; вернулась осень. В этот день перед Покровом на Черных Речках

у речки топили бани. На рассвете девки, босиком по снегу, с подоткнутыми подолами таскали воду, топили весь день курные печи. В избах старшие разводили золу, собирали рубашки, и к сумеркам семьями тоши париться—старики, мужики, деверья, сыновья, ребята, матери, жены, снохи, девки, дети. В банях не было труб, в дыму, в паре, в красных печных отсветах, в тесноте толкались белые человеческие тела, мужские и женские, мылись одним и тем же щелоком, спины тер всем большак, и окупываться бегали все на реку, в сырой вечерней изморози, в холодном ветре.

И Алешка Князьков в этот день на рассвете ходил к Николе, к Егорке, кривому—знахарю. Лес на рассвете был безмолвен, туманен, страшен, и колдун Егорка нашептывал страшно: „В бане, в бане, говорю, в бане!..“. Вечер пришел сырой и холодный, ветер свистел на все лады и переборы. Вечером Алешка караулил у Кононовой-Гнедых бани. Выскочила очумевшая молодая, нагишом, с распущенными косами, бросилась к реке и оттуда побежала на гору к избе, белое тело ее растворилось во мраке. Выходил два раза старик, кряхтя окупывался в речке и вновь уходил париться. Мать под мышками таскала на реку ребятишек. Ульянка в бане задержалась одна, убирала баню. Алексей пробрался в сенце и зашептал, в великом страхе, нашептанное Егором:

— Стану я, Лексей, на запад хребтом, на восток лицом, позрю, посмотрю,—со ясна неба летит огнева стрела. Той стреле помолюсь, той стреле покорюсь, вопрошу ее:—„куда послана, огнева стрела?“—„Во темны леса, воzybучи болота, во сыро корье“—Гой еси, ты огнева стрела! полетай ты куда я пошлю: полетай ты ко Ульяне, ко Кононовой, ударь ее в ретиво сердце, в черную печень, во горячу кровь, в станову жилу, во сахарны уста, чтобы она тосковала, горевала обо мне, при солнце,

при утренней заре, при младом месяце, при ветре-холоде, на убылых днях и на прибылых днях, чтобы она целовала меня, Алексея Семенова, обнимала, блуд со мной творила! Мои слова полны и наговорны, как велико море-окиян, крепки и лепки, крепчая и лепчая клею-карлюкою, твержая и плотняя булату и камню. Во веки веков. Аминь.

Ульянка подтирала пол, проворила, играли легко мышцы на крепком ее крестце. Вдруг ударило угаром в голову, — заговор ли отуманил? — отворила дверь, прислонилась к косяку истомно и покорно, дышала холодным воздухом, улыбнулась слабо, потянулась, — сладко шумело в ушах обдувал отдохновенный холодный ветер. С горы крикнула мать:

— Ульянка-а! Скорей-ча! Коров доить!

— Си-ча-ас! — заспешила, хлопнула раза три тряпкой по полу, плеснула в угли, накинула рубашку и, поднимаясь на гору, запело озорно:

Не пойду в Озерки замуж,

Не буду срамица-а!

Не поеду борновать—

Не буду пылица-а!..

В темном хлеве под навесом тепло пахло пометом и пботом коровьим. Корова стояла покорно. Ульянка подседа на корточках, жикало в подойник молоко, соски у коровы были мягки, корова вздохнула глубоко...

И на Покров у обедни в темной церкви, среди тонконогих и темноликих святых, творила Ульянка несложную свою девичью молитву:

— Мати Пресвятая Богородица, покрой землю снежком, а меня женишком!

И снег в тот год выпал рано, зима стала еще до Казанской.

Мели ветры белыми метелями, застилались поля белыми порошами, сугробами, задымили сизыми дымами избы. Уже давно отошла та весна, когда, с молебном, с семьями на телегах, на три дня ездили мужики громить барские усадьбы, — той весной отпыхали помещичьи гнезда красными петухами, до гла, навсегда. Потом исчезли керосин, спички, чай, сахар, соль, товары, городская обужа-одежа, — в предсмертной судороге задергались поезда; замирая в предсмертной агонии, заплясали пестрые деньги, — на станцию проселок порос подорожником.

Снег падал два дня, ударил морозец, лес поседел, побелели поля, затрещали сороки, — с морозами, ветрами, снегом полысел Златопояс-Добрыня, — первопуток лег легкий, ладный. Той зимой усердно махало поветрие черным платом по избам, сыпало — тифом, оспой, знобами, — и с первопутком приехали киржаки, привезли гроба. День был к сумеркам, серый, гроба были сосновые, всех размеров, лежали в розвальнях, горами, один на другом. Киржак на Черных Речках увидели еще за околицей, у околицы встретили бабы. Гроба раскупили во един час. Киржак отмеривал баб саженью, давал четверть походу. Первым к торгу подступился старик Кононов-Князьков.

— Почем, к примеру, цена-т-от? — сказал он. — Гробы, к примеру, покупать надо-ть... надо-ть покупать, — в городе теперь недостача. Мне надо-ть, старухе, и так, к примеру... кому придется.

Тогда старика Коконова перебила Никонова баба, замахала локтями, локтями заговорила:

— Ну, цена-то, цена-то какая?

— Цена — известно, мы на картофель, — ответил киржак.

— Знамо, не на деньги. Я три гроба возьму. А то помрешь — забота. Все покойней.

— Одно дело, к примеру, покойней, — перебил Кононов. — Ты погоди, бабочка, я постарее... Ну-ка, милоч, отмерь меня, — какой я росточком вышел, отмерь. Помирать — все у бога за пазухой, к примеру, ежели помирать.

Бабы бегали за картошкой, киржак отмеривал, парнишки взваливали гроба на головы — растаскивали с гордостью по избам, долго в избах рассматривали гробяную доброту, примеривались ко гробам и ставили их потом в сенцах на видное место, — у кого два, у кого три. Посинели по-зимнему — мертво, в морозе — снега, засветились избы лучинами, на задах закрипели ворота и бабьи шаги — шаги к сараям за сеном скотине на ночь. Никонова баба позвала киржаков к себе. Со степенностью, без прибауток, продавали гроба киржаки, — в избе, убрав лошадей, за чаем, разувшись, распоясавшись — оказались гостями веселыми, прибаутошниками, на все руки. Никон Борисыч, хозяин, сельский председатель, с бородою от глаз, сидел у светца, щепал лучины, вставлял их одну за другой в рогулину над корытом, угощал гостей любезных и толковал:

— Теперь, все-таки, сами, одни... Умрешь, а гроб — вон-от, на охоту ехать, собак не кормить... Бунт, все-таки, время смутная. Советская власть — городам, значит, крышка... Вот за солью собираются наши на Соль-Вычегодскую...

Баба Никонова, в плисовой безрукавке и в паневе лилового горошка, рогатая по старине, с грудями, выпирающими, как вымя, да и с лицом по-коровьи дебелим, сидела за станом, хлопала-ткала. Чадно светила лучина, освещала мужичьи бородатые лица, кругом в полумраке и дыме расставленные (поблескивали глаза красными отсветами лучинного красного света). На печи, десяток друг на друге, бабы лежали. В углу за печкой, в закуте лениво мекал теленок. Новые приходили — киржаков по-

смотреть, уходили бывшие, — дверь клубилась паром, несла холодом.

— Чу-гу-унка! — говорит в презрении величайшем Никон Борисыч. — Чу-гу-унка, сё-таки! Хуч бы ей издохнуть!

— Одна ваторга, — ответил Климанов.

— Нам, она, к примеру, не нужна, — подтвердил дед Кононов. — Господам, к примеру, нужна ездить по начальству, либо в гости. А мы сами, к примеру, без буржуев, значит.

— Чу-гу-унка! — сказал Никон Борисыч. — Чу-гу-унка, сё-таки!.. Жили без ей — и проживали. А — тоо!.. Одновà в году в город ездил, сё-таки, день на станции караулил, раз пять котомку развязывал: — „Какое твое продовольствие, а то прикладом!..“ Ну, влезли на крышу, поехали... Стоп! — „Какой такой твой мандат, показывай!“ — што, я баба, што ли?! — Показал бланток. Рассердилси. Так и так вашу мать, говорю, ребятов везу в Красную армию, буржуев бить, сё-таки. Я, говорю, — мы за большевиков стоим, за советы, а вы должно камунесты?.. Пошла чесать... сё-таки обидно...

Ночь. Тлеет тускло лучина, тлеют оконца Никоновой избы, спит деревня ночным сном, метет белыми снегами белая метель, небо мутно. В избе, в полумраке, кругом у лучины, в махорочном дыме, сидят мужики, с бородами от глаз (поблескивают глаза красными отсветами). Дымит махорка, красные огоньки тлеют в углах, ползают в дыму перекладыны потолка. Душно, парно в бабьих телах на печи печным блохам. И Никон Борисыч говорит со строгостью величайшей:

— Камуне-есты! — и с энергическим жестом (блеснувшими в лучине глазами): — Мы за большевиков! за советы, чтобы по-нашему, по-россейски. Ходили под господами — а будя! По-россейски, по-нашему! Сама!

-- Одно дело, к примеру, мы ничево,--это дед Конов. --Пушай. И фабричных мы --ничево, примем, пушай девок огуливают, к примеру, венчаются, которые с руко-
меслом. А господ--того, кончать, к примеру..

Свадьба.

Зима. Декабрь. Святки.

Делянка. Деревья, закутанные инеем и снегом, взблескивают синими алмазами. В сумерках кричит последний снегирь, костяной трещоткой трещит сорока. И тишина. Свалены огромные сосны, и сучья лежат причудливыми коврами. Среди деревьев в синей мути, как сахарная бумага, ползет ночь. Мелкою, неспешной побегой проскакивает заяц. Наверху небо -- синими среди вершин ключьями с белыми звездами. Кругом стоят, скрытые от неба, можжевельники и угрюмые елки, сцепившиеся и спутавшиеся тонкими своими прутьями. Ровно и жутко набегает лесной шум. Желтые поленницы безмолвны. Месяц, как уголь, поднимается над дальним концом делянки. И ночь. Небо низко, месяц красен. Лес стоит точно тяжелые надолбы, скованные железом. Гудит ветер, и кажется, что это шумят ржавые засовы. Причудливо в лунной мути лежат срубленные ветви сваленных сосен, как гигантские ежи, щетинятся сумрачно ветвями. Ночь.

И тогда на дальнем конце делянки, в ежах сосен, в лунном свете завыл волк, и волки играют звериные свои святки, волчью свадьбу. Взыла лениво и истомно сука, лизнули горячими языками снег кобели. Прибылые косятся строго. Играют, прыгают, валяются в снег волки, в лунном свете, в морозе. А вожак все воет, воет, воет.

Ночь. И над деревней, в святках, в гаданьях, в рядах, в морозе, в посадках, перед свадьбами несется удалая проходная:

— Чи-ви-ли, ви-ли, ви-ли!
Каво хочешь бери!

—и грустным напевом, девишническим, во имя девичьего целомудрия, сквозь слезы, девичья:

Не чаяла матушка, как детей избыть,—
Сбыла меня матушка во один часок,
Во один часок в незнакомый домок.
Наказала матушка семь лет не быватьи.
Не была у матушки ровно три года.
На четверто лето пташкой прилечу,
Сяду я у батюшки во зеленом саду,
Весь я сад у батюшки слезами залюю,
На родную матушку тоску нагоню.
Ходит моя матушка по новым сениам,
Кличет своих детушек-соловьютушек:
— „Встаньте вы, детушки-соловьютушки,
А и какой-то у нас в саду жалобно поет.
Не моя ль погорькая с чужой стороны?“
Первый брат сказал:—пойду погляжу:
Второй брат сказал:—ружье заряджу.
Третий брат сказал:—пойду застрелю
Меньшой брат сказал:—пойду застрелю-ю!—

На кровле — конек; на князьке — голубь; брачная простыня, наволочки и пологенца — расшиты цветами, травами, птицами; — и свадьба идет как канон, расшитая песнями, ладом, веками и обыком.

Роспись. У светца старик, палит лучина, в красном углу Ульяна Макаровна — в белой одежде невеста, на столе самовар, угощенья. За столом — гости, Алексей Семенович со сватями и сватами.

— Кушайте, гости дорогие, приезжие, — это старик строго.

— Кушайте, гости дорогие, приезжие, — это мать, со страхом и важностью.

— Кушайте, гости дорогие, Лексей Семеныч, — это Ульяна Макаровна, голосом прерывающимся.

— Не гуляла ли, Ульяна Макаровна, с другими парнями, не согрешила ли, не разбитое ли ваше блюдо?

— Нет, Лексей Семеныч... Непорочная я...

— А чем вы, родители любезные, награждаете дочь свою?

— А награждаем мы ее благословением родительским, — образ Казанской...

И свадьба, в каноне веков, ведется над Черными Речками, как литургия, — в соломенных избах, под навесами, на улице, над полями, среди лесов, в метели, в дни, в ночи: звенит песнями и бубенцами, бродит брагой, распиванная, разукрашенная, как на кровле конек, — в вечерах синих, как сахарная бумага. — Глава такая-то книги Обыков, стих первый и дальше.

Стих 1. Когда взят заклад, осмотрен дом, сряжена ряда, и прошел девичник, тогда привозят к жениху добро, которое выкупает жених, и сватки убирают постель простынями и подушками из приданого в цветах и травах, и тогда условливаются о дне венчанья.

Стих 2.

Стих 3.

Ай, мать, моя мать!

Зачем меня женишь?

Я не лягу с женой спать, —

Куды ее денешь?!

— Пошли плясать, пятки отвалилися,

Девки-бабы хохотать — чуть не отелилися!..

Ууу! у! Ааа! а! — пляшет изба, как бабенка
ерная, и задом и передом, визжит в небо.

— Знает ли молодая трубу открывать?

— Знает ли молодая снопы вязать?

— Знает ли соловей гнездо вить?

— Они люди панови, им денежки надобны. Сыр-каравай примите, денежку положите.

— Отмерить холстин двадцать аршин!

Ууу. Ааа. Ооо. Иии. В избе дохнуть нечем. В избе веселье. В избе крик, яства и питье, — а-иих!.. — и из избы под навес бегают подышать, пот согнать, с мыслями собраться, с силами.

Ночь. Звезды мигают лениво, в морозе. Под навесом, во мраке пахнет навозом, скотным теплом. Тихо. Лишь иногда вздохнет скотина. И через каждые четверть часа, с фонарем, приходит старая Алешкина, молодого Алексея Семеныча, мать, — посмотреть корову. Корова лежит покорно, морду уткнув в солому: воды прошли еще вчера, вот-вот родит. Старуха смотрит заботливо, качает головой укоризненно, крестит корову: — пора, пора, буренушка. И корова тужится. Старуха — по старинной примете — отворяет задние ворота, для вольного духа. За воротами пустой вишенник, вдали сарай и тропка к сараю — в сене, подернувшимся инеем. И из темноты говорит дед:

— Я шлежу, я шлежу — шмотрю. Жа Егор-Поликарпычем надоть, жа Егоркой-кривым-жнахарем. Томица корова, томица, тае, корова...

— Беги, дедушка, беги, касатик!..

— Я што? Я шбегаю. А ты карауль. Морож.

Под навесом темно, тепло. Вдыхает корова глубоко и мычит. Старуха светит—торчат два копыта... Старуха крестится и шепчет... А дед трусит полем к лесу, к Егорке. Дед стар, дед знает, что, если не сойдешь с проселка, не тронет волк, теперь уже огуленный и злой. Под навесом на соломе мычит и брыкается мокрый теленок. Фонарь горит неярко, освещает жерди, перегородки, кур под крышей, овец в закуте. На дворе тишина, покой, а изба гудит, поет, пляшет на все лады и переборы.

— И из книги Обыков:

Стих 13. И когда уезжают в ранние и расходятся гости, и в избе остаются только мать молодого и сватья, сватья раздевают молодую и кладут ее на брачную постель, и сами укладываются на печь. И к молодой жене приходит муж ее и ложится рядом с ней на постель, расшитую цветами и травами, и засеивает муж жену свою семенем своим, порвав ложесна ее. И это видят мать и сватья, и крестятся.

Стих 14. И на утро другого дня мать и сватья выводят молодую жену на двор, и обмывают ее теплой водой, и воду после омовения дают пить скоту своему: коровам, лошадям и овцам. И молодые едут в отводы, и им поют срамные песни.

— Делянка. Деревья закутаны инеем и снегом, неподвижны. Среди деревьев, в серой мути, потрескивая сучьями, бежит-трусит белый дедка, и в синей мути, вдалеке, лает волк. День бел и неподвижен. А к вечеру метель. И завтра метель. И воют в метели волки

Вне триптиха, в конце.

День бел и неподвижен. А к вечеру метель — злая, январская. Воют волки.

— Белый же дедко на печи, белый дедко рассказывает внучатам сказку о наливном яблочке:— „Играй, играй, дудочка! Потешай свет-батюшку, родимую мою матушку. Меня бедную загубили, во темном лесу убили за серебряное блюдечко, за наливное яблочко“. Метель кидается ветряными полотнами, порошит трухой снежной, мутью, холодом. Тепло на печи, в сказке, в блохах, в парных телах:— „Пробуди меня, батюшка, от сна тяжкого, достань мне живой воды“. „И пришел он в лес, разрыл землю на цветном бугорке и сбрызнул тростинку живой водой, и очнулась от долгого сна дочь его красоты невиданной“.— „Иван-царевич, зачем ты сжег мою лягушечью шкурку,—зачем?!“

— Лес стоит строго, как надолбы, и стервами бросается на него метель. Ночь. Не про лес ли и не про метели ли сложена был-былина о том, как умерли богатыри?— Новые и новые метельные стервы бросаются на лесные надолбы, воют, визжат, кричат, режут по-бабьи в злости, падают дохлые, а за ними еще мчатся стервы, не убывают,—прибывают, как головы змея—две за одну сеченную, а лес стоит как Илья-Муромец.—

Коломна,
Никола-на-Посадах
25 дек. ст. ст. 1920 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
Вступ ление.	
Ордынин-Город	17
Китай-Город	31
Изложение.	
Глава I.	
Здѣсь продаются пѣмадоры	37
Оленька Кунц и мандат	40
Смерть старика Архипова	49
Глава II. Дом Ордыниных.	
Без названия.	56
Две беседы. Старики	75
Развязки	85
Глава III. О свободах.	
Глазами Андрея	89
Глазами Натальи	99
Глазами Ирины	117
Глава IV. Кому—таторы, а кому—ляторы.	
Провинция, знаете ли. Городские таторы	125
Монастырь Введенъ-на-Горе	131
Пожар.—Ляторы	137
Глава V. Смерти, триптих перзый.	
Смерть коммуны	145
Первое умирание	150
Часть третья триптиха (самая темная)	159
Глава VI, предпоследняя. Большевики, триптих второй.	
Кожаные куртки	176
Китай-Город	180
Часть третья триптиха (самая светлая)	184
Глава VII, последняя, без названия.	
Заклю чение.	
Триптих третий (материал, в сущности).	
Наговоры	191
Разговоры	197
Свадьба	200

Handwritten notes in the top left corner of the left page, including the number "11", a date "1/3 48 000", and the word "анно".

ОИВАРЕИМЕ

Handwritten notes in the middle left of the left page, including "100 off" and "11".

Faint, mirrored text from the reverse side of the page, appearing as bleed-through. It includes various numbers and illegible words.



Handwritten numbers "046016/588" written vertically in the top right corner of the right page.



[Faint, illegible markings and lines, possibly a signature or stamp, located in the upper left quadrant.]